Михаил Шолохов

Из ранних рассказов

Михаил Шолохов

Из ранних рассказов

МОСКВА
«СОВРЕМЕННИК»
1987

Р2
Ш78

Ш $\frac{4702010200-124}{М106(03)-87}$ 159—87

РОДИНКА

I

На столе гильзы патронные, пахнущие сгоревшим порохом, баранья кость, полевая карта, сводка, уздечка наборная с душком лошадиного пота, краюха хлеба. Все это на столе, а на лавке тесаной, заплесневевшей от сырой стены, спиной плотно к подоконнику прижавшись, Николка Кошевой, командир эскадрона сидит. Карандаш в пальцах его иззябших, недвижимых. Рядом с давнишними плакатами, распластанными на столе,— анкета, наполовину заполненная. Шершавый лист скупо рассказывает: *Кошевой Николай. Командир эскадрона. Землероб. Член РКСМ.*

Против графы «возраст» карандаш медленно выводит: *18 лет.*

Плечист Николка, не по летам выглядит. Старят его глаза в морщинках лучистых и спина, по-стариковски сутулая.

— Мальчишка ведь, пацаненок, куга зеленая,— говорят шутя в эскадроне,— а подыщи другого, кто бы сумел почти без урона ликвидировать две банды и полгода водить эскадрон в бои и схватки не хуже любого старого командира!

Стыдится Николка своих восемнадцати годов. Всегда против ненавистной графы «возраст» карандаш ползет, замедляя бег, а Николкины скулы полыхают досадным румянцем. Казак Николкин отец, а по отцу и он — казак. Помнит, будто в полусне, когда ему было лет пять-шесть, сажал его отец на коня своего служивского.

— За гриву держись, сынок! — кричал он, и мать из дверей стряпки улыбалась Николке, бледнея, и глазами широко раскрытыми глядела на ножонки, окарачившие острую хребтину коня, и на отца, державшего повод.

Давно это было. Пропал в германскую войну Николкин отец, как в воду канул. Ни слуху о нем, ни духу. Мать померла. От отца Николка унаследовал любовь к лошадям,

неизмеримую отвагу и родинку, такую же как у отца, величиной с голубиное яйцо, на левой ноге, выше щиколотки. До пятнадцати лет мыкался по работникам, а потом шинель длинную выпросил и с проходившим через станицу красным полком ушел на Врангеля. Летом нонешним купался Николка в Дону с военкомом. Тот, заикаясь и кривя контуженую голову, сказал, хлопая Николку по сутулой и черной от загара спине:

— Ты того... того... Ты счастли... счастливый! Ну да, счастливый! Родинка — это, говорят, счастье.

Николка ощерил зубы кипенные, нырнул и, отфыркиваясь, крикнул из воды:

— Брешешь ты, чудак! Я с мальства сирота, в работниках всю жизнь гибнул, а он — счастье!..

И поплыл на желтую косу, обнимавшую Дон.

II

Хата, где квартирует Николка, стоит на яру над Доном. Из окон видно зеленое расплескавшееся Обдонье и вороненую сталь воды. По ночам в бурю волны стучатся под яром, ставни тоскуют, захлебываясь, и чудится Николке, что вода вкрадчиво ползет в щели пола и, прибывая, трясет хату.

Хотел он на другую квартиру перейти, да так и не перешел, остался до осени. Утром морозным на крыльцо вышел Николка, хрупкую тишину ломая перезвоном подкованных сапог. Спустился в вишневый садик и лег на траву, заплаканную, седую от росы. Слышно, как в сарае уговаривает хозяйка корову стоять спокойно, телок мычит требовательно и басовито, а о стенки цибарки вызванивают струи молока.

Во дворе скрипнула калитка, собака забрехала. Голос взводного:

— Командир дома?

Приподнялся на локтях Николка.

— Вот он я! Ну чего там еще?

— Нарочный приехал из станицы. Говорят, банда пробилась из Сальского округа, совхоз Грушинский заняла...

— Веди его сюда.

Тянет нарочный к конюшне лошадь, пóтом горячим облитую. Посреди двора упала та на передние ноги, потом — на бок, захрипела отрывисто и коротко и издохла, глядя стекленеющими глазами на цепную собаку, захлеб-

нувшуюся злобным лаем. Потому издохла, что на пакете, привезенном нарочным, стояло три креста и с пакетом этим скакал сорок верст, не передыхая, нарочный.

Прочитал Николка, что председатель просит его выступить с эскадроном на подмогу, и в горницу пошел, шашку цепляя, думал устало: «Учиться бы поехать куда-нибудь, а тут банда... Военком стыдит: мол, слова правильно не напишешь, а еще эскадронный... Я-то при чем, что не успел приходскую школу окончить? Чудак он... А тут банда... Опять кровь, а я ужуморился так жить... Опостылело все...»

Вышел на крыльцо, заряжая на ходу карабин, а мысли, как лошади по утоптанному шляху, мчались: «В город бы уехать... Учиться б...»

Мимо издохшей лошади шел в конюшню, глянул на черную ленту крови, точившуюся из пыльных ноздрей, и отвернулся.

III

По кочковатому летнику, по колеям, ветрами облизанным, мышастый придорожник кучерявится, лебеда и пышатки густо и махровито лопушатся. По летнику сено когда-то возили к гумнам, застывшим в степи янтарными брызгами, а торный шлях улегся бугром у столбов телеграфных. Бегут столбы в муть осеннюю, белесую, через лога и балки перешагивают, а мимо столбов шляхом глянцевитым ведет атаман банду — полсотни казаков донских и кубанских, властью Советской недовольных. Трое суток, как набедившийся волк от овечьей отары, уходят дорогами и целиною бездорожно, а за ним вна́зирку — отряд Николки Кошевого.

Отъявленный народ в банде, служивский, бывалый, а все же крепко призадумывается атаман: на стременах привстает, степь глазами излапывает, версты считает до голубенькой каемки лесов, протянутой по ту сторону Дона.

Так и уходят по-волчьи, а за ними эскадрон Николки Кошевого следы топчет.

Днями летними, погожими в степях донских, под небом густым и прозрачным звоном серебряным вызванивает и колышется хлебный колос. Это перед покосом, когда у ядреной пшеницы-гарновки ус чернеет на колосе, будто у семнадцатилетнего парня, а жито дует вверх и норовит человека перерасти.

Бородатые станичники на суглинке, по песчаным буграм возле левад засевают клинышками жито. Сроду не родится оно, издавна десятина не дает больше тридцати мер, а сеют потому, что из жита самогон гонят, яснее слезы девичьей; потому, что исстари так заведено, деды и прадеды пили, а на гербе казаков Области Войска Донского, должно, недаром изображен был пьяный казак, телешом сидящий на бочке винной. Хмелем густым и ярым бродят по осени хутора и станицы, нетрезво качаются красноверхие папахи над плетнями из краснотала.

По тому самому и атаман дня не бывает трезвым, потому-то все кучера и пулеметчики пьяно кособочатся на рессорных тачанках.

Семь лет не видал атаман родных куреней. Плен германский, потом Врангель, в солнце расплавленный Константинополь, лагерь в колючей проволоке, турецкая фелюга со смолистым соленым крылом, камыши кубанские, султанистые, и — банда.

Вот она, атаманова жизнь, коли назад через плечо оглянуться. Зачерствела душа у него, как летом в жарынь черствеют следы раздвоенных бычачьих копыт возле музги[1] степной. Боль, чудна́я и непонятная, точит изнутри, тошнотой наливает мускулы, и чувствует атаман: не забыть ее и не залить лихоманку никаким самогоном. А пьет — дня трезвым не бывает потому, что пахуче и сладко цветет жито в степях донских, опрокинутых под солнцем жадной черноземной утробой, и смуглощекие жалмерки по хуторам и станицам такой самогон вываривают, что с водой родниковой текучей не различить.

IV

Зарею стукнули первые заморозки. Серебряной проседью брызнуло на разлапистые листья кувшинок, а на мельничном колесе поутру заприметил Лукич тонкие разноцветные, как слюда, льдинки.

С утра прихворнул Лукич: покалывало в поясницу, от боли глухой ноги сделались чугунными, к земле липли. Шаркал по мельнице, с трудом передвигая несуразное, от костей отстающее тело. Из просорушки шмыгнул мыши-

---

[1] Музга — озерко, болотце.

ный выводок; поглядел кверху глазами слезливо-мокрыми: под потолком с перекладины голубь сыпал скороговоркой дробное и деловитое бормотание. Ноздрями, словно из суглинка вылепленными, втянул дед вязкий душок водяной плесени и запах перемолотого жита, прислушался, как нехорошо, захлебываясь, сосала и облизывала сваи вода, и бороду мочалистую помял задумчиво.

На пчельнике прилег отдохнуть Лукич. Под тулупом спал наискось, распахнувши рот, в углах губ бороду слюнявил слюной, клейкой и теплой. Сумерки густо измазали дедову хатенку, в молочных лоскутьях тумана застряла мельница...

А когда проснулся — из лесу выехало двое конных. Один из них крикнул деду, шагавшему по пчельнику:

— Иди сюда, дед!

Глянул Лукич подозрительно, остановился. Много перевидал он за смутные года таких вот вооруженных людей, бравших не спрошаючи корм и муку, и всех их огулом, не различая, крепко недолюбливал.

— Живей ходи, старый хрен!

Промеж ульев долбленых двинулся Лукич, тихонько губами вылинявшими беззвучно зашамкал, стал поодаль от гостей, наблюдая искоса.

— Мы — красные, дедок... Ты нас не бойся,— миролюбиво просипел атаман.— Мы за бандой гоняемся, от своих отбились... Може, видел, вчера отряд тут проходил?

— Были какие-то.

— Куда они пошли, дедушка?

— А холера их ведает!

— А у тебя на мельнице никто из них не остался?

— Нетути,— сказал Лукич коротко и повернулся спиной.

— Погоди, старик.— Атаман с седла соскочил, качнулся на дуговатых ногах пьяно и, крепко дохнув самогоном, сказал: — Мы, дед, коммунистов ликвидируем... Так-то! А кто мы есть, не твоего ума дело! — Споткнулся, повод роняя из рук.— Твое дело зерна на семьдесят коней приготовить и молчать... Чтобы в два счета!.. Понял? Где у тебя зерно?

— Нетути,— сказал Лукич, поглядывая в сторону.

— А в энтом амбаре что?

— Хлам, стало быть, разный... Нетути зерна!

— А ну пойдем!

Ухватил старика за шиворот и коленом потянул к амба-

ру кособокому, в землю вросшему. Двери распахнул. В закромах пшеница и чернобылый ячмень.

— Это тебе что, не зерно, старая сволочуга?

— Зерно, кормилец... Отмол это... Год я его по зернушку собирал, а ты конями потравить норовишь...

— По-твоему, нехай наши кони с голоду дохнут? Ты что же это — за красных стоишь, смерть выпрашиваешь?

— Помилуй, жалкенький мой! За что ты меня? — Шапчонку сдернул Лукич, на колени жмякнулся, руки волосатые атамановы хватал, целуя...

— Говори: красные тебе любы?

— Прости, болезный!.. Извиняй на слове глупом. Ой, прости, не казни ты меня,— голосил старик, ноги атамановы обнимая.

— Божись, что ты не за красных стоишь... Да ты не крестись, а землю ешь!..

Ртом беззубым жует песок из пригоршней дед и слезами его подмачивает.

— Ну, теперь верю. Вставай, старый!

И смеется атаман, глядя, как не встанет на занемевшие ноги старик. А из закромов тянут наехавшие конные ячмень и пшеницу, под ноги лошадям сыплют и двор устилают золотистым зерном.

V

Заря в тумане, в мокрети мглистой.

Миновал Лукич часового и не дорогой, а стежкой лесной, одному ему ведомой, затрусил к хутору через буераки, через лес, насторожившийся в предутренней чуткой дреме.

До ветряка дотюпал, хотел через прогон завернуть в улочку, но перед глазами сразу вспухли неясные очертания всадников.

— Кто идет? — окрик тревожный в тишине.

— Я это... — шамкнул Лукич, а сам весь обмяк, затрясся.

— Кто такой? Что — пропуск? По каким делам шляешься?

— Мельник я... С водянки тутошней. По надобности в хутор иду.

— Каки-таки надобности? А ну, пойдем к командиру! Вперед иди... — крикнул один, наезжая лошадью.

На шее почуял Лукич парные лошадиные губы и, прихрамывая, засеменил в хутор.

На площади у хатенки, черепицей крытой, остановились. Провожатый, кряхтя, слез с седла, лошадь привязал к забору и, громыхая шашкой, взошел на крыльцо.

— За мной иди!..

В окнах огонек маячит. Вошли.

Лукич чихнул от табачного дыма, шапку снял и торопливо перекрестился на передний угол.

— Старика вот задержали. В хутор правился.

Николка со стола приподнял лохматую голову, в пуху и перьях, спросил сонно, но строго:

— Куда шел?

Лукич вперед шагнул и радостью поперхнулся.

— Родимый, свои это, а я думал — опять супостатники энти... Заробел дюже и спросить побоялся... Мельник я. Как шли вы через Митрохин лес и ко мне заезжали, еще молоком я тебя, касатик, поил... Аль запамятовал?..

— Ну, что скажешь?

— А то скажу, любезный мой: вчерась затемно наехали ко мне банды эти самые и зерно начисто стравили коням!.. Смывались надо мною... Старший ихний говорит: присягай нам, в одну душу, и землю заставил есть.

— А сейчас они где?

— Тамотко и есть. Водки с собой навезли, лакают, нечистые, в моей горнице, а я сюда прибег доложить вашей милости, может, хоть вы на них какую управу сыщете.

— Скажи, чтоб седлали!.. — С лавки привстал, улыбаясь деду, Николка и шинель потянул за рукав устало.

VI

Рассвело.

Николка, от ночей бессонных зелененький, подскакал к пулеметной двуколке.

— Как пойдем в атаку — лупи по правому флангу. Нам надо крыло ихнее заломить!

И поскакал к развернутому эскадрону.

За кучей чахлых дубков на шляху показались конные — по четыре в ряд, тачанки в середине.

— Намётом! — крикнул Николка и, чуя за спиной нарастающий грохот копыт, вытянул своего жеребца плетью.

У опушки отчаянно застучал пулемет, а те, на шляху, быстро, как на учении, лавой рассыпались.

* * *

Из бурелома на бугор выскочил волк, репьями увешанный. Прислушался, угнув голову вперед. Невдалеке барабанили выстрелы, и тягучей волной колыхался разноголосый вой.

Тук! — падал в ольшанике выстрел, а где-то за бугром, за пахотой эхо скороговоркой бормотало: так!

И опять часто: тук, тук, тук!.. А за бугром отвечало: так, так, так!..

Постоял волк и не спеша, вперевалку, потянул в лог, в заросли пожелтевшей нескошенной куги...

— Держись!.. Тачанок не кидать!.. К перелеску... К перелеску, в кровину мать! — кричал атаман, привстав на стременах.

А возле тачанок уже суетились кучера и пулеметчики, обрубая постромки, и цепь, изломанная беспрестанным огнем пулеметов, уже захлестнулась в неудержимом бегстве.

Повернул атаман коня, а на него, раскрылатившись, скачет один и шашкой помахивает. По биноклю, метавшемуся на груди, по бурке догадался атаман, что не простой красноармеец скачет, и поводья натянул. Издалека увидел молодое безусое лицо, злобой перекошенное, и сузившиеся от ветра глаза. Конь под атаманом заплясал, приседая на задние ноги, а он, дергая из-под пояса зацепившийся за кушак маузер, крикнул:

— Щенок белогубый!.. Махай, махай, я тебе намахаю!..

Атаман выстрелил в нараставшую черную бурку. Лошадь, проскакав саженей восемь, упала, а Николка бурку сбросил, стреляя, перебегал к атаману ближе, ближе...

За перелеском кто-то взвыл по-звериному и осекся. Солнце закрылось тучей, и на степь, на шлях, на лес, ветрами и осенью отерханный, упали плывущие тени.

«Неук, сосун, горяч, через это и смерть его тут налапает»,— обрывками думал атаман и, выждав, когда у того кончилась обойма, поводья пустил и налетел коршуном.

С седла перевесившись, шашкой махнул, на миг ощутил, как обмякло под ударом тело и послушно сползло наземь. Соскочил атаман, бинокль с убитого сдернул, глянул на ноги, дрожавшие мелким ознобом, оглянулся и присел сапоги снять хромовые с мертвяка. Ногой упираясь

в хрустящее колено, снял один сапог быстро и ловко. Под другим, видно, чулок закатился: не скидается. Дернул, злобно выругавшись, с чулком сорвал сапог и на ноге, повыше щиколотки, родинку увидел с голубиное яйцо. Медленно, словно боясь разбудить, вверх лицом повернул холодеющую голову, руки измазал в крови, выползавшей изо рта широким бугристым валом, всмотрелся и только тогда плечи угловатые обнял неловко и сказал глухо:

— Сынок!.. Николушка!.. Родной!.. Кровинушка моя...

Чернея, крикнул:

— Да скажи же хоть слово! Как же это, а?

Упал, заглядывая в меркнущие глаза; веки, кровью залитые, приподымая, тряс безвольное, податливое тело... Но накрепко закусил Николка посинелый кончик языка, будто боялся проговориться о чем-то неизмеримо большом и важном.

К груди прижимая, поцеловал атаман стынущие руки сына и, стиснув зубами запотевшую сталь маузера, выстрелил себе в рот...

* * *

А вечером, когда за перелеском замаячили конные, ветер донес голоса, лошадиное фырканье и звон стремян, с лохматой головы атамана нехотя сорвался коршун-стервятник. Сорвался и растаял в сереньком, по-осеннему бесцветном небе.

1924

ПРОДКОМИССАР

I

В округ приезжал областной продовольственный комиссар.

Говорил, торопясь и дергая выбритыми досиня губами:

— По статистическим данным, с вверенного вам округа необходимо взять сто пятьдесят тысяч пудов хлеба. Вас, товарищ Бодягин, я назначил сюда на должность окружного продкомиссара как энергичного, предприимчивого работника. Надеюсь. Месяц сроку... Трибунал приедет на

днях. Хлеб нужен армии и центру вот как... — Ладонью чиркнул по острому щетинистому кадыку и зубы стиснул жестко. — Злостно укрывающих — расстреливать!..

Головой, голо остриженной, кивнул и уехал.

II

Телеграфные столбы, воробьиным скоком обежавшие весь округ, сказали: разверстка.

По хуторам и станицам казаки-посевщики богатыми очкурами покрепче перетянули животы, решили разом и не задумавшись:

—Дарма хлеб отдавать?.. Не дадим...

На базах, на улицах, кому где приглянулось, ночушками повыбухали ямищи, пшеницу ядреную позарыли десятками, сотнями пудов. Всякий знает про соседа, где и как попрятал хлебишко.

Молчат...

Бодягин с продотрядом каруселит по округу. Снег визжит под колесами тачанки, бегут назад заиндевевшие плетни. Сумерки вечерние. Станица — как и все станицы, но Бодягину она родная. Шесть лет ее не состарили.

Так было: июль знойный, на межах желтопенная ромашка, покос хлебов, Игнашке Бодягину — четырнадцать лет. Косил с отцом и работником. Ударил отец работника за то, что сломал зубец у вил; подошел Игнат к отцу вплотную, сказал, не разжимая зубов:

— Сволочь ты, батя...

— Я?!

— Ты...

Ударом кулака сшиб с ног Игната,испорол до крови чересседельней. Вечером, когда вернулись с поля домой, вырезал отец в саду вишневый костыль, обстрогал, — бороду поглаживая, сунул его Игнату в руки:

— Поди, сынок, походи пó миру, а ума-разума наберешься — назад вертайся, — и ухмыльнулся.

Так было, а теперь шуршит тачанка мимо заиндевевших плетней, бегут назад соломенные крыши, ставни размалеванные. Глянул Бодягин на раины в отцовском палисаднике, на жестяного петуха, раскрылатившегося на крыше в безголосном крике; почувствовал, как что-то уперлось в горле и перехватило дыхание. Вечером спросил у хозяина квартиры:

— Старик Бодягин живой?

Хозяин, чинивший упряжку, обсмоленными пальцами всучил в дратву щетинку, сощурился:

— Все богатеет... Новую бабу завел, старуха померла давненько, сын пропал где-то, а он, старый хрен, по солдаткам бегает...

И, меняя тон на серьезный, добавил:

— Хозяин ничего, обстоятельный... Вам разве из знакомцев?

Утром, за завтраком, председатель выездной сессии Ревтрибунала сказал:

— Вчера двое кулаков на сходе агитировали казаков хлеб не сдавать... При обыске оказали сопротивление, избили двух красноармейцев. Показательный суд устроим и шлепнем...

III

Председатель трибунала, бывший бондарь, с приземистой сцены народного дома бросил, будто новый звонкий обруч на кадушку набил:

— Расстрелять!..

Двух повели к выходу... В последнем Бодягин отца спознал. Рыжая борода только по краям заковылилась сединой. Взглядом проводил морщинистую, загорелую шею, вышел следом.

У крыльца начальнику караула сказал:

— Позови ко мне вот того, старика.

Шагал старый, понуро сутулился, узнал сына, и горячее блеснуло в глазах, потом потухло. Под взъерошенное жито бровей спрятал глаза:

— С красными, сынок?

— С ними, батя.

— Тэ-э-эк... — В сторону отвел взгляд.

Помолчали.

— Шесть лет не видались, батя, и говорить нечего?

Старик зло и упрямо наморщил переносицу:

— Почти не к чему... Стёжки нам выпали разные. Меня за мое ж добро расстрелять надо, за то, что в свой амбар не пущаю, — я есть контра, а кто по чужим закромам шарит, энтот при законе? Грабьте, ваша сила.

У продкомиссара Бодягина кожа на острых изломах скул посерела.

— Бедняков мы не грабим, а у тех, кто чужим потом наживался, метем под гребло. Ты первый батраков всю жизнь сосал!

— Я сам работал день и ночь. По белу свету не шатался, как ты!

— Кто работал — сочувствует власти рабочих и крестьян, а ты с дрекольем встретил... К плетню не пустил... За это и на распыл пойдешь!..

У старика наружу рвалось хриплое дыхание. Сказал голосом осипшим, словно оборвал тонкую нить, до этого вязавшую их обоих:

— Ты мне не сын, я тебе не отец. За такие слова на отца будь трижды проклят, анафема... — Сплюнул и молча зашагал. Круто повернулся, крикнул с задором не скрытым: — Нно-о, Игнашка!.. Нешто не доведется свидеться, так твою мать! Идут с Хопра казаки вашевскую власть резать. Не умру, сохранит матерь божия,— своими руками из тебя душу выну...

* * *

Вечером за станицей мимо ветряка, к глинищу, куда сваливается дохлая скотина, свернули кучкой. Комендант Тесленко выбил трубку, сказал коротко:

— Становитесь до яру ближче...

Бодягин глянул на сани, ломтями резавшие лиловый снег сбочь дороги, сказал придушенно:

— Не серчай, батя...

Подождал ответа.

Тишина.

— Раз... два... три!..

Лошадь за ветряком рванулась назад, сани испуганно завиляли по ухабистой дороге, и долго еще кивала крашеная дуга, маяча поверх голубой пелены осевшего снега.

IV

Телеграфные столбы, воробьиным скоком обежавшие весь округ, сказали: на Хопре восстание. Исполкомы сожжены. Сотрудники частью перерезаны, частью разбежались.

Продотряд ушел в округ. В станице на сутки остались Бодягин и комендант трибунала Тесленко. Спешили отпра-

вить на ссыпной пункт последние подводы с хлебом. С утра пришагала буря. Понесло, закурило, белой мутью запорошило станицу. Перед вечером на площадь прискакало человек двадцать конных. Над станицей, застрявшей в сугробах, полыхнул набат. Лошадиное ржание, вой собак, надтреснутый, хриплый крик колоколов...

Восстание.

На горе через впалую лысину кургана, понатужась, перевалили двое конных. Под горою, по мосту, лошадиный топот. Куча всадников. Передний в офицерской папахе плетью вытянул длинноногую породистую кобылу.

— Не уйдут коммунисты!..

За курганом Тесленко, вислоусый украинец, поводьями тронул маштака-киргиза.

— Черта с два догонят!

Лошадей прижеливали. Знали, что разлапистый бугор лег верст на тридцать.

Позади погоня лавой рассыпалась. Ночь на западе, за краем земли, сутуло сгорбатилась. Верстах в трех от станицы в балке, в лохматом сугробе, Бодягин заприметил человека. Подскакал, крикнул хрипло:

— Какого черта сидишь тут?

Мальчонка малюсенький, синим воском налитый, качнулся. Бодягин плетью взмахнул, лошадь заморДовалась, танцуя подошла вплотную.

— Замерзнуть хочешь, чертячье отродье? Как ты сюда попал?

Соскочил с седла, нагнулся, услышал шелест невнятный:

— Я, дяденька, замерзаю... Я — сирота... пó миру хожу. — Зябко натянул на голову полу рваной бабьей кофты и притих.

Бодягин молча расстегнул полушубок, в полу завернул щуплое тельце и долго садился на взноровившуюся лошадь.

Скакали. Мальчишка под полушубком прижух, оттаял, цепко держался за ременный пояс. Лошади заметно сдавали ходу, хрипели, отрывисто ржали, чуя нарастающий топот сзади.

Тесленко сквозь режущий ветер кричал, хватаясь за гриву бодягинского коня:

— Брось пацаненка! Чуешь, бисов сын? Брось, бо можуть споймать нас!.. — Богом матюкался, плетью стегал посиневшие руки Бодягина. — Догонят — зарубают!.. Щоб ты ясным огнем сгорив со своим хлопцем!..

Лошади поравнялись пенистыми мордами. Тесленко до крови иссек Бодягину руки. Окостенелыми пальцами тискал тот вялое тельце, повод уздечки заматывая на луку, к нагану тянулся.

— Не брошу мальчонку, замерзнет!.. Отвяжись, старая падла, убью!

Голосом заплакал сивоусый украинец, поводья натянул:

— Не можно уйти! Шабаш!..

Пальцы — чужие, непослушные; зубами скрипел Бодягин, ремнем привязывая мальчишку поперек седла. Попробовал, крепко ли, и улыбнулся:

— За гриву держись, головастик!

Ударил ножнами шашки по потному крупу коня, Тесленко под вислые усы сунул пальцы, свистнул пронзительным разбойничьим посвистом. Долго провожали взглядами лошадей, взметнувшихся облегченным галопом. Легли рядышком. Сухим, отчетливым залпом встретили вынырнувшие из-под пригорка папахи.

* * *

Лежали трое суток. Тесленко, в немытых бязевых подштанниках, небу показывал пузырчатый ком мерзлой крови, торчащей изо рта, разрубленного до ушей. У Бодягина по голой груди безбоязненно прыгали чубатые степные птички; из распоротого живота и порожних глазных впадин не торопясь поклевывали черноусый ячмень.

1925

ШИБАЛКОВО СЕМЯ

— Образованная ты женщина, очки носишь, а того не возьмешь в понятие... Куда я с ним денусь?..

Отряд наш стоит верстов сорок отсель, шел я пеши и его на руках нес. Видишь, кожа на ногах порепалась? Как ты есть заведывающая этого детского дома, то прими дитя! Местов, говоришь, нету? А мне куда его? В достаточности я с ним страданьев перенес. Горюшка хлебнул выше горла... Ну да, мой это сынишка, мое семя... Ему другой год, а матери не имеет. С маманькой его вовсе особенная исто-

рия была. Что ж, я могу и рассказать. Позапрошлый год находился я в сотне особого назначения. В ту пору гоняли мы по верховым станицам Дона за бандой Игнатьева. Я в аккурат пулеметчиком был. Выступаем как-то из хутора, степь голая кругом, как плешина, и жарынь неподобная. Бугор перевалили, под гору в лесок зачали спущаться, я на тачанке передом. Глядь, а на пригорке вблизости навроде как баба лежит. Тронул я коней, к ней правлюсь. Обыкновенно — баба, а лежит кверху мордой, и подол юбки выше головы задратый. Слез, вижу — живая, дышит... Воткнул ей в зубы шашку, разжал, воды из фляги плеснул, баба оживела навовсе. Тут подскакали казаки из сотни, допрашиваются у нее:

— Что ты собою за человек и почему в бессовестной видимости лежишь вблизу шляха?

Она как заголосит по-мертвому,— насилу дознались, что банда из-под Астрахани взяла ее в подводы, а тут снасильничали и, как водится, кинули посередь путя... Говорю я станишникам:

— Братцы, дозвольте мне ее на тачанку взять, как она пострадавши от банды.

Тут зашумела вся сотня:

— Бери ее, Шибалок, на тачанку! Бабы, они живущи́, стервы, нехай трошки подправится, а там видно будет!

Что ж ты думаешь? Хоть и не обожаю я нюхать бабьи подолы, а жалость к ней поимел и взял ее, на свой грех. Пожила, освоилась — то лохуны казакам выстирает, глядишь, латку на шаровары кому посодит, по бабьей части за сотней надглядала. А нам уж как будто и страмотно бабу при себе держать. Сотенный матюкается:

— За хвост ее, курву, да под ветер спиной!

А я жалкую по ней до высшего и до большего степени. Зачал ей говорить:

— Метись отсель, Дарья, подобру-поздорову, а то присватается к тебе дурная пуля, после плакаться будешь...

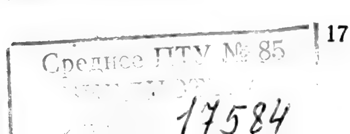
Она в слезы, в крик ударилась:

— Расстрельте меня на месте, любезные казачки́, а не пойду от вас!

Вскорости убили у меня кучера, она и задает мне такую заковырину:

— Возьми меня в кучера? Я, дескать, с коньми могу не хуже иного-прочего обходиться...

Даю ей вожжи.



— Ежели,— говорю,— в бою не вспопашишься в два счета тачанку задом обернуть — ложись посередь шляха и помирай, все одно запорю!

Всем служилым казакам на диво кучеровала. Даром что бабьего пола, а по конскому делу разбиралась хлеще иного казака. Бывало, на позиции так тачанку крутнет, ажник кони в дыбки становятся. Дальше — больше... Начали мы с ней путаться. Ну, как полагается, забрюхатела она. Мало ли от нашего брата бабья страдает. Этак месяцев восемь гоняли мы за бандой. Казаки в сотне ржут:

— Мотри, Шибалок, кучер твой с харча казенного какой гладкий стал, на козлах не умещается!

И вот выпала нам такая линия — патроны прикончились, а подвозу нет. Банда расположилась в одном конце хутора, мы — в другом. В очень секретной тайне содержим от жителей, что патрон не имеем. Тут-то и получилась измена. Посередь ночи — я в заставе был — слышу: стоном гудит земля. Лавой идут по-за хутором и оцепить нас имеют в виду. Прут в наступ, явственно без всяких опасениев, даже позволяют себе шуметь нам:

— Сдавайтесь, красные казачки, беспатронники! А то, братушки, нагоним вас на склизкое!..

Ну, и нагнали... Так накрутили нам хвосты, что довелось-таки мерять по бугру, чья коняка добрее. Поутру собрались верстах в пятнадцати от хутора, в лесу, и доброй половины своих недосчитались. Какие ушли, а остатних порубали. Ущемила меня тоска — житья нету, а тут Дарью хворь обротала. Ве́рхи поскакалась ночью и вся собой сменилась, почернела. Гляжу, покрутилась с нами и пошла от становища в лес, в гущину. Я такое дело смекнул и за ней по следу. Забилась она в яры, в бурелом, вымоину нашла и, как волчица, листьев-падалицы нагребла и легла спервоначалу вниз мордой, а после на спину обернулась. Квохчет, счинается родить, я за кустом не ворохнусь сижу, на нее сквозь ветки поглядываю... И вот она кряхтит-кряхтит, потом зачинает покрикивать, слезы у ней по щекам, а сама вся зеленью подернулась, глаза выпучила, тужится, ажник судорога ее выгинает. Не казачье это дело, а гляжу и вижу — не разродится баба, помрет... Выскочил я из-за куста, подбег к ней, смекаю, что надо мне ей помочь оказать. Нагнулся, рукава засучил, и такая меня оторопь взяла, по́том весь взмок. Людей доводилось убивать — не робел, а тут поди вот! Вожусь около нее, она перестала выть и такую мне запаливает хреновину:

— Знаешь, Яша, кто банде сообчил, что у нас патронов нет? — и глядит на меня сурьезно так.

— Кто? — спрашиваю у ней.

— Я.

— Что ты, дурная, собачьей бесилы обтрескалась? Не тот час, чтоб гутарить, молчи лежи!..

Она опять свое:

— Смертынька в головах у меня стоит, повинюсь перед тобой я, Яша... Не знаешь ты, какую змею под рубахой грел...

— Ну, винись,— говорю,— ляд с тобой!

Тут она и выложила. Рассказывает, а сама головою оземь бьется.

— Я,— говорит,— в банде своей охотой была и тягалась с ихним главачом Игнатьевым... Год назад послали меня в вашу сотню, чтоб всякие сведения я им сообчала, а для видимости я и представилась снасилованной... Помираю, а то в дальнеющем я бы всю сотню перевела...

Сердце у меня тут прикипело в грудях, и не мог я стерпеть — вдарил ее сапогом и рот ей раскровянил. Но тут у ней схватки заново начались, и вижу я — промеж ног у нее образовалось дите... Мокрое лежит и верещит, как зайчонок на зубах у лисы... А Дарья уж и плачет, и смеется, в ногах у меня полозит и все колени мои норовит обнять... Повернулся я и пошел от нее до сотни. Прихожу и говорю казакам — так и так...

Поднялась промеж них киповень. Спервоначалу хотели меня порубать, а посля и говорят мне:

— Ты примолвил ее, Шибалок, ты должен ее и прикончить, со всем с новорожденным отродьем, а нет — тебя на капусту посекем...

Стал я на колени и говорю:

— Братцы! Убью я ее не из страху, а по совести, за тех братов-товарищев, какие головы поклали через ее изменшество, но поимейте вы сердце к дитю. В нем мы с ней половинные участники, мое это семя, и пущай живым оно остается. У вас жены и дети есть, а у меня, окромя его, никого не оказывается...

Просил сотню и землю целовал. Тут они поимели ко мне жалость и сказали:

— Ну, добре! Нехай твое семя растет и нехай из него выходит такой же лихой пулеметчик, как и ты, Шибалок. А бабу прикончь!

Кинулся я к Дарье. Она сидит, оправилась и дитя на руках держит.

Я ей и говорю:

— Не дам я тебе дитя к грудям припущать. Коли родился он в горькую годину — пущай не знает материного молока, а тебя, Дарья, должен я убить за то, что ты есть контра нашей Советской власти. Становись к яру спиной!..

— Яша, а дите? Твоя плоть. Убьешь меня, и оно помрет без молока. Дозволь мне его выкормить, тогда убивай, я согласна...

— Нет,— говорю я ей,— сотня мне строгий наказ дала. Не могу я тебя в живых оставить, а за дитя не сумлевайся. Молоком кобыльим выкормлю, к смерти не допущу.

Отступил я два шага назад, винтовку снял, а она ноги мне обхватила и сапоги целует...

После этого иду обратно, не оглядываюсь, в руках дрожание, ноги подгибаются, и дите, склизкое, голое, из рук падает...

Дён через пять тем местом назад ехали. В лощине над лесом воронья туча... Хлебнул я горюшка с этим дитем.

— За ноги его да об колесо! Что ты с ним страдаешь, Шибалок! — говорили, бывало, казаки.

А мне жалко постреленка до крайности. Думаю: «Нехай растет, батьке вязы свернут — сын будет власть Советскую оборонять. Все память по Якову Шибалку будет, не бурьяном помру, потомство оставлю...» Попервам, веришь, добрая гражданка, слезьми плакал с ним, даром что извеку допрежь слез не видал. В сотне кобыла ожеребилась, жеребенка мы пристрелили, ну вот и пользовали его молоком. Не берет, бывало, соску, тоскует, потом свыкся, соску дудолил не хуже, чем материну титьку иное дите.

Рубаху ему из своих исподников сшил. Сейчас он маленечко из ней вырос, ну, да ничего, обойдется...

Вот теперича ты и войди в понятие: куда мне с ним деваться! Мал дюже, говоришь? Он смышленый и жевки потребляет... Возьми его от лиха! Берешь?.. Вот спасибо, гражданка!.. А я, как толечко разобьем фоминовскую банду, надбегу его проведать.

Прощай, сынок, семя Шибалково!.. Расти... Ах, сукин сын! Ты за что же отца за бороду трепаешь? Я ли тебя не пестал? Я ли с тобой не нянчился, а ты драку заводишь под конец? Ну, давай на расставанье в маковку тебя поцелую...

Не беспокойтеся, добрая гражданка, думаете, он кри-

чать будет? Не-е-т!.. Он у нас трошки из большевиков, кусаться — кусается, нечего греха таить, а слезу из него не вышибешь!..

1925

АЛЕШКИНО СЕРДЦЕ

Два лета подряд засуха дочерна вылизывала мужицкие поля. Два лета подряд жестокий восточный ветер дул с киргизских степей, трепал порыжелые космы хлебов и сушил устремленные на высохшую степь глаза мужиков и скупые, колючие мужицкие слезы. Следом шагал голод. Алешка представлял себе его большущим безглазым человеком: идет он бездорожно, шарит руками по поселкам, хуторам, станицам, душит людей и вот-вот черствыми пальцами насмерть стиснет Алешкино сердце.

У Алешки большой, обвислый живот, ноги пухлые... Тронет пальцем голубовато-багровую икру — сначала образуется белая ямка, а потом медленно-медленно над ямкой волдыриками пухнет кожа, и то место, где тронул пальцем, долго наливается землянистой кровью.

Уши Алешки, нос, скулы, подбородок туго, до отказа, обтянуты кожей, а кожа — как сохлая вишневая кора. Глаза упали так глубоко внутрь, что кажутся пустыми впадинами. Алешке четырнадцать лет. Не видит хлеба Алешка пятый месяц. Алешка пухнет с голоду.

Ранним утром, когда цветущие сибирьки рассыпают у плетней медвяный и приторный запах, когда пчелы нетрезво качаются на их желтых цветках, а утро, сполоснутое росою, звенит прозрачной тишиной, Алешка, раскачиваясь от ветра, добрел до канавы, стоная, долго перелазил через нее и сел возле плетня, припотевшего от росы. От радости сладко кружилась Алешкина голова, тосковало под ложечкой. Потому кружилась радостно голова, что рядом с Алешкиными голубыми и неподвижными ногами лежал еще теплый трупик жеребенка.

На сносях была соседская кобыла. Недоглядели хозяева, и на прогоне пузатую кобылу пырнул под живот крутыми рогами хуторской бугай — скинула кобыла. Тепленький, парной от крови, лежит у плетня жеребенок; рядом

Алешка сидит, упираясь в землю суставчатыми ладонями, и смеется, смеется...

Попробовал Алешка всего поднять, не под силу. Вернулся домой, взял нож. Пока дошел до плетня, а на том месте, где жеребенок лежал, собаки склубились, дерутся и тянут по пыльной земле розовое мясо. Из Алешкиного перекошенного рта: «А-а-а...» Спотыкаясь, размахивая ножом, побежал на собак. Собрал в кучу всё до последней, тоненькой кишочки, половинами перетаскал домой.

К вечеру, объевшись волокнистого мяса, умерла Алешкина сестренка — младшая, черноглазая.

Мать на земляном полу долго лежала вниз лицом, потом встала, повернулась к Алешке, шевеля пепельными губами.

— Бери за ноги.

Взяли. Алешка — за ноги, мать — за курчавую головку, отнесли за сад в канаву и слегка прикидали землей.

На другой день соседский парнишка повстречал Алешку, ползущего по проулку, сказал, ковыряя в носу и глядя в сторону:

— Леш, а у нас кобыла жеребенка скинула, и собаки его слопали!..

Алешка, прислонясь к воротам, молчал.

— А Нюратку вашу из канавы тоже отрыли собаки и середку у ей выжрали...

Алешка повернулся и пошел молча и не оглядываясь.

Парнишка, чикиляя на одной ноге, кричал ему вслед:

— Маманька наша бает, какие без попа и не на кладбище закопанные, этих черти будут в аду драть!.. Слышь, Лешка?

* * *

Неделя прошла. У Алешки гноились десны. По утрам, когда от тошного голода грыз он смолистую кору караича, зубы во рту у него качались, плясали, а горло тискали судороги.

Мать, лежавшая третьи сутки не вставая, шелестела Алешке:

— Леня... пошел бы... молочаю в саду надергал..

Ноги у Алешки — как былки, оглядел их подозрительно и лег на спину, от боли, резавшей губы, длинно растягивая слова:

— Я, маманька, не пойду... Меня ветер валяет...

На этот же день Полька, старшая сестра Алешки,

доглядела, когда богатая соседка, Макарчиха по прозвищу, ушла за речку полоть огород, проводила глазами желтый платок, мелькавший по садам, и через окно влезла к ней в хату. Подставив скамью, забралась в печку, из чугуна через край пила постные щи, пальцами вылавливала картошку. Убитая едой, уснула, как лежала,— голова в печке, а ноги на скамье. К обеду вернулась Макарчиха — баба ядреная и злая. Увидела Польку, взвизгнула, одной рукой вцепилась в спутанные волосенки, а другой — зажав в кулаке железный утюг, молча била ее по голове, лицу, по гулкой иссохшей груди.

Из своего двора видел Алешка, как Макарчиха, озираясь, стянула Польку с крыльца за ноги. Подол Полькиной юбчонки задрался выше головы, а волосы мели по двору пыль и стлали по земле кровянистую стежку.

Сквозь решетчатый переплет плетня глядел, не моргая, Алешка, как Макарчиха кинула Польку в давнишний обвалившийся колодец и торопливо прикинула землей.

* * *

Ночью в саду пахнет земляной сыростью, крапивным цветом и дурманным запахом собачьей бесилы. Вдоль обветшалой огорожи лопухи караулят дорожку бессменно. Ночью вышел Алешка в сад, долго глядел на Макарчихин двор, на слюдяные оконца, на лунные брызги, окропившие лохматую листву садов, и тихо побрел к воротам Макарчихиного двора. Под амбаром загремел цепью и забрехал привязанный кобель.

— Цыц!.. Серко... Серко.— Стягивая губы, Алешка посвистал заискивающе, и кобель смолк.

В калитку не пошел Алешка, перелез через плетень и ощупью, ползком добрался до погреба, накрытого бурьяном и ветками. Прислушиваясь, звякнул цепкой. Не заперт погреб. Крышку приподнял, ежась спустился по лестнице.

Не видал Алешка, как из стряпки выскочила Макарчиха. Подбирая рубаху, прыжками добежала до повозки, стоявшей посреди двора, выдернула шкворень и — к погребу. Свесила вниз распатлаченную голову, а Алешка закрыл помутневшие глаза и, прислушиваясь к ударам тарахтящего сердца, не передыхая пил из кувшина молоко.

— Ах ты, хвитинов твою дыхало! Ты что же это делаешь, сукин сын?..

Разом отяжелевший кувшин скользнул из захолодавших Алешкиных пальцев и разлетелся вдребезги, стукнувшись о край лестницы.

Комом упала Макарчиха в погреб...

* * *

Легко подняла Алешку за плечи, молча, с плотно сжатыми губами, вышла на проулок, прошла под плетнем до речки и бросила вялое тело на ил, около воды.

На другой день — праздник троица. У Макарчихи пол усыпан чабрецом и богородицыной травкой. С утра выдоила корову, прогнала ее в табун, шальку достала праздничную, цветастую, в разводах, покрылась и пошла к Алешкиной матери. Двери в сенцы распахнуты, из неметеной горницы духом падальным несет. Вошла. Алешкина мать на кровати лежит, ноги поджала, и рукою от света прикрыты глаза. На закоптелый образ перекрестилась Макарчиха истово.

— Здорово живешь, Анисимовна!

Тишина. У Анисимовны рот раззявлен криво, мухи пятнают щеки и глухо жужжат во рту. Макарчиха шагнула к кровати.

— Долго延 пануешь, милая... А я, признаться, зашла узнать, не будешь ли ты продавать свою хату? Сама знаешь — девка у меня на выданье, хотела зятя принять... Да ты спишь, что ли?

Тронула руку — и обожглась колючим холодком. Ахнула, кинулась от мертвой бежать, а в дверях Алешка стоит — белей мела. За косяк дверной цепляется, в крови весь, в иле речном.

— А я живой, тетя... не убивай меня... я не буду!

* * *

Перед сумерками через улицы, увешанные кудрявыми коврами пыли, через площадь, мимо отерханной церковной ограды, тенью шел Алешка. Возле школы, под нахмуренными акациями, повстречал попа. Шел из церкви тот, сгорбатившись, нес в мешке пироги и солонину. Алешка, кривя губы, прохрипел:

— Христа ради...

— Бог подаст! — И зашагал мимо, сутулясь, путаясь в полах подрясника.

Возле речки в кирпичных сараях и амбарах — хлеб. Во дворе дом, жестью крытый. Заготовительная контора Донпродкома № 32. Под навесом сарая — полевая кухня, две патронные двуколки, а у амбаров — шаги и нечищеные жала штыков. Охрана.

Выждал Алешка, пока повернется спиною часовой, и юркнул под амбар (доглядел еще поутру, что из щелей струей желтой сочится хлеб). Брал в пригоршню жесткое зерно, жевал жадно. Опамятовался от голоса сзади:

— Это кто тут?

— Я...

— Кто ты?

— Алешка...

— Ну, вылазь!..

Поднялся на ноги Алешка, глаза зажмурил, ждал удара, ладонями закрывая лицо. Стояли долго... Потом голос добродушно буркнул:

— Пойдем ко мне, Алешка! У меня есть пшеница пареная.

Успел доглядеть Алешка на горбатом носу очки тусклые и улыбку, совсем не сердитую. Очкастый зашагал, отмеряя длинными ногами, как ходулями, а Алешка за ним поспешил, спотыкаясь и падая на руки. В заготконторе вторая дверь по коридору направо с надписью:

«Помещается политком Синицын!»

Вошли. Очкастый зажег жирник, сел на табурет, широко разбросав ноги, а Алешке под нос потихонечку сунул горшок с пареной пшеницей и в полбутылке подсолнечное масло. Глядел, как двигались Алешкины скулы и на щеках его вспухали и бегали желваки. Потом встал и взял горшок. Алешка уцепился бородавчатыми пальцами за края. Всхлипнул, тряся головой.

— Жалко тебе, жадюга?!

— Не жалко, дурья твоя голова, а облопаешься, издохнешь!

* * *

На другой день во двор заготконторы с рассветом пришел Алешка. Сидел на поломанных порожках, ляская зубами, и до восхода солнца ждал, пока скрипнет дверь с надписью «Помещается политком Синицын!» и на пороге покажется очкастый.

Солнце перевалило через кирпичные сараи, когда встал очкастый. Вышел он на крыльцо и носом закрутил.

— От тебя воняет, Алешка?

— Я исть хочу...— буркнул Алешка и глянул на очки снизу вверх.

— Сейчас мы сварим каши, но... от тебя... Алеша Попович, все-таки воняет.

Алешка сказал просто и деловито:

— Меня Макарчиха убивала, а теперь жарко, и в голове черви завелись...

Очкастый побледнел и переспросил:

— У тебя черви?

— В голове!.. Грызут дюже...

Алешка снял с головы перепревший от крови пук конопли, а очкастый заглянул в круглую гноящуюся рану на Алешкиной голове. Увидел, как из сукровицы острые головки кажут белые черви, и застонал, через крыльцо перегнувшись.

Алешка осмелел и сказал:

— Ты вот чего... ты мне их повыковыряй палочкой, а в дыру керосину налей... Подохнут черви с керосину-то?

Очкастый заостренной палочкой выковыривал из раны склизких червяков, а Алешка скулил и перебирал ногами. С этих пор и установилась промеж них дружба. Каждый день приползал в заготконтору Алешка, жрал толокно из чашки, хлебал масло, ел много и жадно и всегда беспокойно ощущал на себе пытливо-ласковый взгляд.

* * *

За прогоном, за зеленой стеной шуршащих будыльев кукурузы отцвело жито. Колос вспух и налился ядреным молочным зерном. Каждый день мимо хлебов гонял Алешка в степь пасти заготконторских лошадей. Не треножа, пускал их по полынистым отножинам, по ковылю, седому и вихрастому, а сам заходил в хлеб. Рослые стебли жита радушно жались, давали место, и Алешка ложился осторожненько, стараясь не толочь хлеб. Лежа на спине, растирал в ладонях колос и ел до тошноты зерно, мягкое и пахучее, налитое незатвердевшим белым молоком.

Как-то пригнал Алешка лошадей в степь. Долго бочился, захаживал вокруг норовистой и брыкучей кобыленки, хотел репьи выбрать из гривы и счистить с кожи присохшую коросту. Щерила почернелые зубы кобыла, норовила куснуть или накинуть задком. Алешка изловчился-таки — цап ее за хвост, а тут сзади голос:

— Эй, Алешка!.. Будя тебе злодырничать. Наймайся ко мне в помочь?! Буду держать за харч, ну, обувку там какую справлю.

Выпустил Алешка кобылий хвост, оглянулся. Стоит неподалеку хуторской богатей Иван Алексеев, смотрит на Алешку улыбчиво.

— Пойдешь в работники, сказывай? Харч у меня, как полагается, настоященский... Молочишко есть и все такое прочее...

Не подумал Алешка, обрадовался работе и хлебу, напрямки брякнул:

— Пойду, Иван Алексеев.

— Ну, являйся с пожитками к вечеру! — И пошел Иван Алексеев, мелькая слинявшей рубахой по кукурузе.

Голому одеться — только подпоясаться. Ни роду у Алешки, ни племени. Именья — одни каменья, а хату и подворье еще до смерти мать пораспродала соседям: хату — за девять пригоршней муки, базы — за пшено, леваду Макарчиха купила за корчажку молока. Только и добра у Алешки — зипун отцовский да материны валенки приношенные. Табун пришел с попаса, а Алешка — к Ивану Алексееву во двор. Возле стряпки расстелила хозяйка рядно, сели семейно на земле, вечеряют. В ноздри Алешке так и ширнуло духом вареной баранины. Проглотил слюну, стал около, картузишко комкая, а в мыслях: «Хучь бы посадила вечерять хозяйка...» Не тут-то было. Рвет и мечет баба, чугунами гремит:

— Ишо дармоеда привел! Он слопает больше, чем наработает. Провожай его, Алексеевич, с богом! Не нужен по теперешним временам!

— Молчи, баба! Есть две отвертки — знай посапливай! — Это сам Иван Алексеев, бороду рукавом вытирая. На этом разговор и кончился.

Не впервой Алешке работать. В отца пошел — въедливый на работу, с семи лет погонычем был, хвосты быкам накручивал.

Дня три пожил — освоился, на мельницу с хозяйской снохой съездил, на покосе сено копнил. Ночевать устроился под навесом сарая. В первую же ночь пришел под навес хозяин, сказал, вонюче отрыгивая луком:

— Ежели ты, сучье вымя, затеешься тут курить, голову саморучно с вязов сверну! Чтоб ни-ни!

— Я, дяденька, не займаюсь.

— Ну, гляди!..

Ушел, а Алешке не спится. И на вторую ночь — тоже. От работы полевой гудут ноги и руки, в спине кол болячкой растопырился, и сон нейдет. На третий день — спозаранку — прибежал в контору. Очкастый умывался на крыльце, кряхтя и фыркая.

— Ты где запропал, Алексей?

— В работники нанялся.

— К кому?

— К Ивану Алексееву, на краю живет.

— Ну, браток, надбеги вечерком. Потолкуем насчет этого.

Вечером напоил Алешка скотину, пришел в контору. Очкастый в книгах копается.

— Ты грамоте знаешь, Алексей?

— В приходском учился. Себя расписываю.

— Пойдем со мною!

Пошли по коридору. В конце на дверях мелом написано — раскумекал Алешка: «Клуб РКСМ». Чудно́ и непонятно. Вошел очкастый, Алешка, робея,— следом. В комнатушке портреты, флаг красный, слинявший, и ребята кое-какие, знакомые. Книжку читают вслух, покосились на скрип двери и опять слегли над столом, слушают. Прислушался и Алешка. Читали о том, как должны нанимать хозяева работников, и еще про многое разное читали. Пришел Алешка из клуба в полночь. Долго ворочался на рваной дерюжке. До самой зари настырно заглядывал ему в глаза кособокий месяц.

* * *

Говорил Алешке Иван Алексеев:

— Ты смотри у меня, сукин сын, чтоб работа горела у тебя в руках!.. Чуть замечу, что раззяву ловишь,— в один момент сгоню со двора!.. Иди, издыхай на улице!..

Алешка и на покос, и на молотьбу, и скотину убирает, а Иван Алексеев руки за махровитый кушачок засунет, знай похаживает с ухмылочкой по двору.

Подозвал его сосед как-то в праздник:

— Здорово живешь, Иван Алексеев!

— Слава богу.

— Совесть-то всю растерял?

— Что такое?

— А то, что не дело ты строишь... Лешка у тебя ровно лошадюка ворочает... Надорвешь парнишку. Греха на душу возьмешь!..

— Смотрел бы ты, сосед, за своим добром, на чужой баз глаза нечего пучить, а в обчем, убирайся под разэтакую мать!..— Повернулся к соседу спиною, зашагал степенно и враскачку, а за угол сарая завернул — бороду зажал промеж зубов ядреных и желтых, выругался матерно и злобу глухую на соседа до поры до времени припрятал на самое донышко своего нутра.

С той поры мстил безлошадному бедняку соседу: загонял коровенку со своего жнивья, держал ее привязанной и некормленой по двое суток, а на Алешку еще больше работы навалил и за каждую пустяковину бил дурным боем.

Пожаловаться хотел Алешка очкастому, но боялся, что, узнав, прогонит его Иван Алексеев. Молчал. Ночами, короткими и душными, под навесом сарая мочил подушку горечью слез, а вечерами всегда, как только пригонят с водопоя скотину, через гумно, крадучись и припадая к плетням, бежал в клуб. Каждый день встречался с очкастым. Улыбался тот, глядя на Алешку поверх тусклых очков, и по спине похлопывал. В воскресенье пришел Алешка в клуб засветло. В комнатушке народу густо, у всех винтовки, а у очкастого на поясе кобура с ремнем витым и блестящая штука, на бутылку похожая.

Увидал Алешку, подошел, улыбаясь.

— Банда в наш округ вступила, Алексей. Как только займут станицу — ты к нам, клуб защищать!

Хотел расспросить Алешка, как и что, но больно народу много, не посмел. На другой день утром маслом косилочным смазывал Алешка косилку. Глянул к стряпке — из дверей хозяин идет. Захолонуло у Алешки в середке: брови у хозяина настобурченные, идет и бороду дергает. Как будто и неуправки нет ни в чем, а побаивается хозяина Алешка, больно уж лют он на расправу. Подошел к косилке:

— Ты где бываешь ночьми, гаденыш?

Молчит Алешка. Банка с маслом косилочным в пальцах у него подрагивает.

— Где бываешь, говорю?!

— В клубе...

— А-а-а... в клубе? А этого ты не пробовал, так твою мать?!

Кулак у хозяина весь желтой щетиной порос и тяжел, как гиря. Стукнул Алешку по затылку, а у того и ноги подвернулись, упал грудью на косилочные крылья, из глаз, словно просяная рушка, искры посыпались.

— Малость отвыкнешь шляться!.. А нет, так убирайся

со двора к чертовой матери, чтобы и духом твоим не воняло тут! — Запрягая в косилку коней, гремел хозяин: — Христа ради взял его, а он будет с сукиными сынами якшаться, а опосля придет другая власть и будут за тебя, за гада, турсучить!.. Ну, только направься туда, я тебе вложу памятку!..

У Алешки зубы редкие и большие, и сердце у Алешки простецкое, сроду ни на кого не серчал. Бывало, говорила ему мать:

— Ох, Ленька, пропадешь ты, коли помру я. Цыпляты тебя навозом загребут! И в кого ты такой уродился? Отца твово через его ухватку и устукали на шахтах... Кажной дыре был гвоздь... А тебя сейчас ребятишки клюют, а опосля и вовсе из битых не вылезешь...

Доброе Алешкино сердце, ему ли на хозяина злобиться, коли тот кусок ему дал? Встал Алешка, передохнул малость, а хозяин опять присучивается бить — за то, что, когда упал на косилку, масло разлил. Кое-как вечера дождался Алешка, лег под дерюгу и голову подушкой накрыл...

Проснулся Алешка перед зарею. По проулку зацокали лошадиные копыта и смолкли у ворот. Звякнуло кольцо у калитки. Шаги и стук в окно.

— Хозяин!..— тихо так, вполголоса.

Прислушался Алешка: рыпнула дверь, на крыльцо вышел Иван Алексеев. Долго и глухо гутарили промеж себя.

— Лошадь бы трошки подкормить...— доплыло до сарая.

Алешка приподнял голову, увидал, как двое в шинелях ввели во двор оседланных лошадей и привязали к крыльцу. Хозяин с одним из них направился к гумну. Проходя мимо сарая, заглянул под навес, спросил потихоньку:

— Ты спишь, Алешка?

Притаился Алексей, носом пустил сдержанный храп, а сам прислушался, приподымая голову.

— Парнишка живет у меня... Ненадежный...

Минут через пять скрипнула гуменная калитка, хозяин пронес беремя сена; следом шел чужой, звякая шашкой и путаясь в полах шинели. Голос услыхал Алешка сиплопридушенный:

— Пулеметы есть у них?

— Откедова!.. Два взвода красных стоит во дворе конторы... И все... Ну, там политком еще, весовщики...

— Завтра в полночь приедем нá гости... в Казенном лесу все... Перережем, ежели врасплох...

Около крыльца заржала лошадь, второй в шинели крикнул злобно:

— Тю, проклятая!..

Звук удара и топот танцующих копыт.

Перед рассветом, в редеющей темноте, со двора Ивана Алексеева выехали двое конных и крупной рысью поскакали по дороге к Казенному лесу.

* * *

Утром, за завтраком почти не ел Алешка, сидел, не подымая глаз. Покосился хозяин подозрительно.

— Ты что не лопаешь?

— Голова болит.

Насилу дождался, пока кончится завтрак. Крадучись, прошел на гумно, перемахнул через плетень и — рысью в контору. Ветром ворвался в комнату политкома Синицына, хлопнул дверью и стал у порога, придерживая руками барабанящее сердце.

— Откуда ты сорвался, Алешка?

Путаясь, рассказал Алешка про ночных гостей, про обрывки слышанного разговора. Очкастый выслушал, не проронив ни одного слова, потом встал, кинул Алешке ласково:

— Посиди тут...— и вышел.

С полчаса просидел Алешка в комнате очкастого. На окне сердито гудела оса, по полу шевелились пряди солнечного света. Услышав во дворе голоса, глянул в окно Алешка. У крыльца стояли: очкастый с двумя красноармейцами, а в средине хозяин Иван Алексеев. Борода у него тряслась и прыгали губы:

— По злобе наговорено вам...

— А вот увидим!..

Таким еще не видел Алешка очкастого: слились на переносице брови, из-под очков жестоко блестели глаза. Отомкнул дверь в кирпичном сарае, стал сбоку и к Ивану Алексееву строго так:

— Заходи!..

Пригибаясь, шагнул в сарай Алешкин хозяин. Хлопнула дверь за ним.

* * *

— Ну вот гляди: так и так, потом раз, два, и гильза выбрасывается. Вот сюда вставляется обойма...

Лязгает винтовочный затвор под рукою очкастого, смотрит он на Алешку поверх очков и улыбается.

Вечером дегтярной лужей застыла над станицей темнота. На площади возле церковной ограды цепью легли красноармейцы. Рядом с очкастым — Алешка. У винтовки Алешкиной пахучий ремень и от росы вечерней потное ложе...

В полночь на краю станицы, возле кладбища, забрехала собака, потом другая, и сразу волной ударил в уши дробный грохот копыт. Очкастый привстал на одно колено, целясь в конец улицы, крикнул:

— Ро-о-та... пли!..

Га-а-х! Тах! Тах! Тах!..

За оградой вспугнутое эхо скороговоркой забормотало: ах-ах-ах!..

Раз и два двинул затвором Алешка, выбросил гильзу и снова услышал хриплое: «Рота, пли!»

В конце широкой улицы — ругань, выстрелы, лошадиный визг. Прислушался Алешка — над головой тягученудное: тю-ю-уть!..

Спустя минуту другая пуля чмокнулась в ограду на аршин повыше Алешкиной головы, облила его брызгами кирпича. В конце улицы редкие огоньки выстрелов и беспорядочный удаляющийся грохот лошадиных копыт. Очкастый пружинисто вскочил на ноги, крикнул:

— За мной!..

Бежали. У Алешки во рту горечь и сушь, сердце не умещается в груди. В конце улицы очкастый, споткнувшись об убитую лошадь, упал. Алешка, бежавший рядом с ним, видал, как двое впереди них прыгнули через плетень и побежали по двору. Хлопнула дверь. Громыхнула щеколда.

— Вот они! Двое забегли в хату!..— крикнул Алешка.

Очкастый, хромая на ушибленную ногу, поравнялся с Алешкой. Двор оцепили. Красноармейцы густо легли за кладбищенской огорожей, по саду за кустами влажной смородины; жались в канаве. Из хаты, из окон, заложенных подушками, сначала стреляли, в промежутки между хлопающими выстрелами слышалось хриплое матюканье и захлебывающиеся голоса, потом все смолкло.

Очкастый и Алешка лежали рядом. Перед рассветом, когда сырая темнота, клубясь, поползла по саду, очкастый, не подымая головы, крикнул:

— Эй, вы там, сдавайтесь! А то гранату кинем!

Из хаты два выстрела. Очкастый взмахнул рукой:

— По окнам, пли!

Сухой, отчетливый залп. Еще и еще. Прячась за толстыми саманными стенами, те двое стреляли редко, перебегая от окна к окну.

— Алешка, ты меньше меня ростом, ползи по канаве до сарая, кинешь гранату в дверь... Иначе мы не скоро возьмем их... Вот это кольцо сдернешь и кидай, не медли, а то убьет!..

Отвязал очкастый от пояса похожую на бутылку штуку. Алешке передал. Изгибаясь и припадая к влажной земле, полз Алешка; сверху, над канавой, пули косили бурьян, поливали его знобкой росою. Дополз до сарая, сдернул кольцо, нацелился в дверь, но дверь скрипнула, дрогнула, распахнулась... Через порог шагнули двое; передний на руках держал девочку лет четырех, в предутренних сумерках четко белела рубашонка холстинная, у второго изорванные казачьи шаровары заливала кровь; стоял он, голову свесив набок, цепляясь за дверной косяк.

— Сдаемся! Не стрелять! Дите убьете!

Увидал Алешка, как из хаты к порогу метнулась женщина, собой заслонила девочку, с криком заламывая руки; назад оглянулся — очкастый привстал на колени, а сам белее мела; по сторонам глянул.

Понял Алешка, что ему надо делать. Зубы у Алешки большие и редкие, а у кого зубы редкие, у того и сердце мягкое. Так говорила, бывало, Алешкина мать. На гранату блестящую, на бутылку похожую, лег он животом, лицо ладонями закрыл...

Но очкастый метнулся к Алешке, пинком ноги отбросил его, с перекошенным ртом мгновенно ухватил гранату, швырнул ее в сторону. Через секунду над садом всплеснулся огненный столб, услышал Алешка грохочущий гул, стонущий крик очкастого и почувствовал, как что-то вонюче-серое опалило ему грудь, а на глаза навалилась густая колкая пелена.

* * *

Когда очнулся Алешка, увидал над собой зеленое — от бессонных ночей — лицо очкастого.

Попробовал Алешка приподнять голову, но грудь обожгло болью, застонал, засмеялся.

— Я живой... не помер...

— И не помрешь, Леня!.. Тебе помирать теперь нельзя. Вот гляди!..

В руке очкастого билет с номером, поднес к Алешкиным глазам, читает:

— Член РКСМ, Попов Алексей... Понял, Алешка?.. На полвершка от сердца попал тебе осколок гранаты... А теперь мы тебя вылечили, пускай твое сердце еще постучит — на пользу рабоче-крестьянской власти.

Жмет очкастый руку Алешке, а Алешка под тусклыми, запотевшими очками увидал то, чего никогда раньше не видал: две небольшие серебристые слезинки и кривую, дрожащую улыбку.

1925

БАХЧЕВНИК

I

Отец пришел от станичного атамана веселый, чем-то обрадованный. Смех застрял у него под густыми бровями, губы морщились от сдерживаемой улыбки; таким, как нынче, давно не видал Митька отца. С тех пор как пришел он с фронта, постоянно был суров, нахмурен, щедро отсыпал четырнадцатилетнему Митьке затрещины и долго и задумчиво турсучил свою рыжую бороду. А нынче, как солнышко сквозь тучи глянуло, даже Митьку, подвернувшегося под руку, сунул с крыльца шутливо и засмеялся:

— Ну, ты, висляй!.. Беги на огород, кличь матерю обедать!

За обедом сидели всей семьей: отец под образами, мать прижалась на краешке лавки, к печке поближе, а Митька рядом с Федором — старшим братом. Под конец, когда отхлебали реденькие постные щи, отец бороду разложил на две щетинистые половины и снова улыбнулся, морща синеватые губы:

— Должон семью с радостью поздравить: нынче меня назначили комендантом при военно-полевом суде у нас в станице...— Помолчал и добавил: — В германскую войну лычки тоже недаром заслуживал, офицерство и мои храбрые отличия не забыты по начальству.

И, багровея, густо наливаясь кровью, сверкнул на Федора глазами:

— Ты что же, сволочь, голову опустил? Не рад отцовской радости? А? Ты у меня, Федька, гляди!.. Думаешь, я не вижу, как ты нюхаешься с мужиками? Через тебя, подлеца, мне атаман в глаза стрянет. «Вы, говорит, Анисим Петрович, действительно блюдете казачью честь, а Федор, сынок ваш, с большевиками якшается, двадцать годов парню, жалко, может пострадать...» Говори, сукин сын: ходишь к мужикам?

— Хожу.

Дрогнуло у Митьки сердце, думал, ударит отец Федора, но тот только перегнулся через стол, кулаки сжимая, рявкнул:

— А знаешь ты, красноармейская утроба, что завтра мы твоих друзей арестуем? Знаешь ты, что портного Егорку и кузнеца Громова завтра же расстреляют?

И опять услыхал Митька от побледневшего брата твердое:

— Нет, не знаю, но теперь буду знать.

Не успела мать загородить собою Федора, не успел Митька вскрикнуть, как отец, размахнувшись, кинул тяжелую медную кружку. Обломанная ручка острым краем воткнулась Федору повыше глаза. Тоненькой цевкой далеко брызнула кровь. Молча Федор закрыл рукой кровью залитый глаз. Мать, стоная, обняла его голову, а отец с грохотом опрокинул скамью и вышел из хаты, хлопнув дверью.

До вечера суетилась мать. Из сундука достала связку сушеной рыбы, насыпала в сумку сухарей, потом присела у окна, латая Федорово белье. Проходя мимо, видел Митька, как мать, голову уткнувши в ворох белья, сидит неподвижно, лишь плечи у нее под рваной ситцевой кофтенкой судорожно сходятся и расходятся.

Затемно пришел из станичного правления отец и, не ужиная, не раздеваясь, лег на кровать. Федор, стараясь не скрипеть половицами, на цыпочках прошел в кладовую, достал седло, уздечку и вышел во двор.

— Митя, поди сюда!

Митька загонял телят, хворостину бросил, подошел к брату. Смутно догадывался он, что Федор хочет уехать за Дон к большевикам, туда, откуда каждую зорю плывет и волнами плещется над станицей глухой орудийный гул. Спросил Федор, отводя глаза в сторону:

— Ты не знаешь, Митяй, конюшня заперта?

— Запертая... А на что тебе?

— Надо, значит.— Помолчал Федор, посвистал сквозь зубы и неожиданно зашептал: — Ключи от конюшни у отца под подушкой... в головах... выкрадь их... я хочу уехать.

— Куда?

— В Красную гвардию служить... Мал ты еще, после поймешь, на чьей стороне правда живет... Ну так вот, еду я воевать за землю, за бедный народ и за то, чтоб все равные были, чтобы не было ни богатых, ни бедных, а все равные.

Выпустил Федор из рук Митькину голову, спросил строго:

— Возьмешь ключи?

Ответил Митька не колеблясь:

— Возьму,— повернулся к Федору спиной и, не оглядываясь, пошел в хату.

В горнице полутемно, тягучее жужжание засыпающих на потолке мух. У дверей скинул Митька башмачишки, приподымая за ручку (чтобы не скрипнула), отворил дверь и мягко зашлепал босыми ногами к кровати.

Головой к окну навзничь лежит отец, одна рука в кармане, другая свесилась с кровати, ноготь, большой, обкуренный, в половицу упирается. Затаив дыхание, подошел Митька к кровати, остановился, прислушиваясь к булькающему храпу отца. Тишина, густая и недвижная... У отца на рыжей бороде хлебные крошки и яичная скорлупа, из раззявленного рта стервятно разит спиртом, а где-то на донышке горла хрипит и рвется наружу застрявший кашель.

Протянул Митька руку к подушке, а у самого сердце, не останавливаясь: тук-тук-тук-тук...

И кровь, приливая к голове, звенит в ушах колючим трезвоном. Сначала один палец просунул под засаленную подушку, потом другой. Нащупал скользкий ремешок и холодную связку ключей, потянул к себе потихоньку, а отец вдруг черк рукой Митьку за шиворот:

— Ты зачем крадешься, стервец? Я тебе чупрыну в два счета оболтаю!

— Батя! Родненький! Я за ключами от конюшни... Будить не хотел...

Скосил отец на Митьку припухшие, желтизною налитые глаза.

— А зачем понадобились ключи?

— Кони что-то нудятся...

— Так и говори...— Отец кинул на пол связку ключей и, обернувшись к стене лицом, вздохнул и минуту спустя захрапел снова.

Митька — опрометью из хаты на двор, к Федору, прижавшемуся под навесом сарая. Сунул ему в руки ключи, спросил:

— А какого коня возьмешь?

— Жеребчика.

Вздохнул Митька, следом за Федором шагая, сказал вполголоса:

— Федя, а ить меня батька-то запорет?..

Промолчал Федор, молча вывел из конюшни жеребчика, оседлал, долго ловил ногою непослушное стремя и, уже выезжая из ворот, прошептал, свесившись с седла:

— Терпи, Митяй! Горе мыкать не век будем, а отцу, Анисиму Петровичу, перекажи моим словом: коли тронет он тебя или мамашу хоть пальцем,— лютую расправу на него наведу...

И выехал из ворот, торопя жеребчика в дальнюю путину, а Митька за плетнем присел на корточки, хотел поглядеть было вслед Федору, но глаза застлала соленая пелена и удушье перехватило горло.

II

Отец захлебывался в горнице клокочущим хрипом. Стал Митька раньше раннего, обротал Гнедого, к Дону поехал напоить и искупать коня-работягу. Под копытами Гнедого шуршит, осыпаясь, присохший мел, съехал под яр к воде, разнуздал коня, сбросил одежду, ежась от мглистой утренней сырости, и услышал, как над водой где-то далеко-далеко растаял охнувший гул и, перекатываясь, пополз по Дону. С головой окунаясь в воду, пронизанную колючим утренним холодком, улыбнулся Митька, подумал: «Теперь Федор, поди, у большевиков уже... В Красногвардии службу ломает...»

Перекинулись мысли на дом, на отца, и разом, как искра на ветру, потухла радость. Ехал обратно домой сгорбившись, померкли Митькины глаза.

Уже подъезжая к дому, подумал: «Задать бы стрекача туда... к большевикам... правда у них живет, говорил Федор... С ним бы увязаться. А отец мне нынче сдерет шкуру... юшку красную пустит из носу...»

У крыльца снял с коня узду и медленно вошел в хату. Отец из горницы сипло:

— По какой причине жеребчика не водил купать?

Глянул Митька мельком на мать, пристывшую возле печки, почувствовал, как кровь торопливо уходит к сердцу.

— Жеребчика нету в конюшне!..

— Где же он?

— Не знаю.

— А Федор где?

— Не видал.

В горнице, обуваясь, шаркает сапогами отец. Через кухню прошел в кладовую, сверкая припухшими от сна глазами.

— Где седло?..— загремел из сенцев.

Стал Митька поближе к матери и, как бывало давно, в детстве, уцепился за материну руку. Вошел отец в кухню, в руках комкает кожаный ремень.

— Ты кому ключи отдал?

Мать собой заслонила Митьку.

— Не тронь его, Анисим Петрович. Ради Христа, не бей!.. Аль не жалко сына?

— Пусти, чертова сволочь!.. Тебе говорю аль нет?..— Оттолкнул мать в сторону, Митьку повалил на пол, бил ногами деловито, долго, жестоко, до тех пор, пока перестали из Митькиного горла рваться глухие, стонущие крики.

III

Все слышнее и слышнее становился орудийный гул. По утрам, когда прогоняли табун на попас, долго сидел Митька под старым ветряком на прогоне. От ветра на крыше ветряка повизгивала и скрежетала жесть, крылья скрипели тягуче и нудно и, покрывая все робкие звуки, где-то за бугром басовито ухало: бу-у-ух!..

Рокочущий густыми переливами гул долго таял за станицей в ярах, задернутых предрассветной голубизной. Через станицу утром тянулись к Дону обозы со снарядами, патронами, колючей проволокой. Обратно везли израненных, завшивевших казаков, сваливали их на площади, возле станичного правления. Любопытные куры заботливо загребали папиросные окурки, закровяненные бинты, вату с комками запекшейся крови и внимательно прислушивались к стонам, плачу, хриплым матюканьям раненых.

Митька старался не попадаться отцу на глаза.

Позавтракавши, уходил с удочками к Дону, сидя на берегу, смотрел, как по мосту двигалась конница, громыхали тачанки, гребла морозную пыль пехота. Возвращался домой в сумерках. Вечером в станицу пригнали толпу пленных красногвардейцев. Шли они тесно, скучившись, босые, в изорванных шинелишках. Казачки выбегали на улицу, плевали в серые, запыленные лица, похабно ругались под грохочущий хохот казаков и конвойных. Шел Митька следом, глотал едкую пыль, взлохмаченную ногами пленных; сердце, тоскою зажатое в кулак, трепыхалось неровными бросками... Глядел в каждые глаза, обведенные иссиня-черными кругами, переводил взгляд с одного безусого лица на другое и ждал, что вот-вот в одном из этих серошинельных узнает брата Федора.

На площади, около общественного сарая, где раньше ссыпался станичный хлеб, пленных остановили. Увидал Митька, как на крыльцо правления вышел отец, левой рукою теребя темляк на шашке, гаркнул:

— Шапки долой!..

Медленно-медленно сняли красногвардейцы шапки, стали, свесив лохматые головы, изредка перешептывались. Опять знакомый грозный голос:

— В ряды стройся!.. Да живо, красная сволочь!

Шуршат, переступая, босые ноги. Серая шеренга измученных лиц до крыльца правления протянулась.

— По порядку рассчитайсь!..

Осипшие голоса. Заученный поворот голов. А у Митьки в горле судороги, жалость к этим как будто чужим людям, жалость до жгучей боли, до тошного удушья, и в первый раз за всю жизнь ненависть едкая к отцу, к его самодовольной улыбке, к рыжей щетинистой бороде.

— В сарай — шагом — арш!..

Пошли по одному в раззявленное черное хайло дверей. Последнего, низкорослого, шатающегося, ударил Митькин отец ножнами шашки по голове, обвязанной кровавой тряпкой; пробежал тот, спотыкаясь и раскачиваясь, шагов пять и тяжело упал вниз лицом на жесткую, утоптанную ногами землю. На площади хохот, гул голосов, глаза, сузившиеся от смеха, бабьи рты, захлебнувшиеся слюнявым смешком, а Митька вскрикнул надорванно и глухо, лицо закрыл похолодевшими ладонями и, натыкаясь на людей, побежал по улице.

IV

Мать возится у печки, кончает стряпаться. Подошел Митька боком, сказал, глядя в сторону:

— Маманька... испеки пышек... я бы отнес энтим, какие в сарае сидят... пленным.

У матери на глазах мокрая пленка.

— Отнеси, сынок, может — и наш Федя страдает где... И у пленных матери есть, тоже, небось, ночами подушки не высыхают.

— А как батя узнает?

— Не приведи бог! Ты, Митенька, вечером отнеси. Какие казаки стерегут, отдай им и скажи, чтоб передали...

Солнце, как нарочно, замедляет шаг и ползет над станицей, равнодушное к Митькиному нетерпению и невозмутимое. Насилу дождался, пока спустится темнота, прошел на площадь, ящерицей скользнул между проволочной огорожей и к дверям, а сам рукой придерживает за пазухой узелок с харчами.

— Кто идет? Стой! Стрелять буду!..

— Это я... харчи пленным принес.

— Кто такой? Проваливай, пока приклада не пробовал! Черт тебя носит по ночам! Дня тебе мало харч носить?

— Погоди, Прохорыч, никак, это комендантов парнишка?

— Ты Анисима Петровича сынок?

— Да...

— Тебя кто же с харчами прислал? Отец?

— Не-е-ет... Я сам.

К Митьке подошли двое казаков. Старший, бородатый, ухватил Митьку за ухо.

— Тебя кто, пащенок, научил харчи пленным таскать? Ты того не могешь понять, что они нам есть самые вредные враги? А ежели я про эти дела батяньке твоему доложу? Он как за это тебе примолвит?

— Брось, Прохорыч! Жалко тебе чужого хлеба? В два горла жрать все равно не будешь, возьми харчишки, передадим!

— А ежели Анисим Петрович про то узнает? Тебе рассусоливать хорошо, ты один, а у меня семейство. За подобные дела на фронт пошлют, да к тому же и розог всыплют...

— Да ну тебя к черту, расплакался!.. Эй, парнишонок, ты куда же удираешь? Тащи свои харчи, передам, что ли.

Передал Митька молодому в руки узелок; нагнувшись, шепнул тот ему:

— По средам и пятницам я дежурю... Приноси.

Каждую среду и пятницу вечерами приходил Митька на площадь; стараясь не зацепиться за колючую проволоку, лез через огорожу, передавал часовому узелок и возвращался домой, пригибаясь у плетней и оглядываясь.

V

Каждый день, как только над станицей золотисто-рябым пологом растопыривалась ночь, из сарая выводили кучки пленных красногвардейцев и под конвоем гнали в степь — к ярам, закутанным белесым туманом. До станицы ветром доносило отзвук трескучего залпа и реденькие винтовочные выстрелы. Когда пленных уводили больше двадцати человек, следом, поскрипывая колесами, шуршала пулеметная тачанка. Номера дремали на широких козлах, кучер блестел цигаркой и лениво шевелил вожжами, лошади переступали неохотно и разнобоисто, а оголенный пулемет, без чехла, тускло блестел дырявой пастью, словно зевал спросонок. Спустя полчаса где-то в ярах пулемет сухо и отрывисто татакал, кучер полосовал кнутом взмыленных, храпящих лошадей, номера тряслись, подпрыгивая на козлах, и тройка лихо останавливалась возле комендантской, глазевшей на сонную улицу тремя освещенными окнами.

В среду вечером отец сказал Митьке:

— Ты все лодырничаешь? Веди-ка нынче в ночное Гнедого, да смотри — в хлеба не пущай! Только потрави у меня чей-нибудь хлеб, я тебе всыплю чертей!

Обротал Митька Гнедого, матери успел шепнуть:

— Отнеси, маманька, харчи сама... Отдашь часовому.

Уехал вместе со станичными ребятами на отвод, за атаманскую землю. Вернулся на другой день, утром до восхода солнца. Отворил калитку, скинул с Гнедого уздечку, хлопнул его по пузу, припухшему от зеленки, и пошел в хату. В кухню вошел — на полу и на стенах кровь. Угол печки в чем-то кровянисто-белом. Из горницы клокочущий хрип, мычанье... Переступил Митька порог, а на полу мать лежит, вся кровью подплыла, лицо багрово-пухлое, волосы на глаза свисают кровянистыми сосульками. Увидала Митьку, замычала, задергалась, а сама слова не скажет.

Мечется в распухшем рту посинелый язык, глаза смеются дико и бессмысленно, из перекошенного рта розоватые пузырчатые слюни...

— Ми... ми... тя... тя... тя... тя...

И смех глухой, стонущий.

Упал на колени Митька, руки материны целовал, глаза, залитые черной кровью. Обнял голову, а на пальцах кровь и комочки белые слизистые... На полу около валяется отцовский наган, рукоятка в крови...

Не помнит, как выбежал. Упал возле плетня, а соседка из своего двора кричит:

— Ой, убегай, сердешный, куда глазыньки твои глядят! Узнал отец, что мать носила пленным харч, убил ее до смерти и на тебя грозился!

VI

Месяц прошел с тех пор, как нанялся Митька в бахчевники. Жил в шалаше на макушке горы. Видно оттуда молочно-белую ленту Дона, станицу, пристывшую под горою, и кладбище с бурыми пятнышками могил. Когда нанимался, шумели казаки:

— Это Анисимов сын! Не надо нам таких-то! У него брат в Красногвардии и мать, сука, пленных кормила. На осину его, а не в бахчевники!

— Он, господа старики, платы не просит. Говорит, за Христа ради буду стеречь бахчи. Будет ваша милость — дадите кусок хлеба, а нет — и так издохнет...

— Не дадим, нехай издыхает!..

Но атамана все же послушались. Наняли. Да и как же не нанять обществу мирского батрака: никакой платы не просит и будет стеречь станичные бахчи круглое лето за Христа ради. Прямая выгода...

Поспевали, пухли под солнцем желтые дыни и пятнистые полосатые арбузы. Понуро ходил Митька по бахчам, пугал грачей криком и звонкоголосой трещоткой. По утрам вылезал из шалаша, ложился около стенки на перепревший бурьян, вслушивался, как за Доном бухали орудия, и долго затуманившимися глазами глядел в ту сторону.

На гору мимо бахчей, мимо обрывистых меловых яров гадючьим хвостом извивается кочковатый летник. По нему сено возят летом станичные казаки, по нему гоняют к ярам расстреливать пленных красногвардейцев. Ночами часто

просыпается Митька от хриплых криков и выстрелов внизу, за левадами, за густою стеною верб, после выстрелов воют собаки, и по летнику громыхают шаги, иногда стрекочет тачанка, тлеют огоньки папирос, говор сдержанный доносится. Как-то ходил Митька туда, где путаным узлом вяжутся извилистые яры, видал под откосом засохшую кровь, а внизу, на каменистом днище, где вода размыла неглубокую могилу, чья-то босая нога торчала; подошва сухая, сморщенная, и ветер степной, шарящий по ярам, вонь трупную ворошит. С тех пор не ходил...

В этот день из станицы по летнику шли толпою раньше обыкновенного: по бокам — казаки из конвойной команды, в средине они — красногвардейцы в шинелях, накинутых внапашку. Солнце окуналось в сверкающую белизну Дона медлительно, словно хотело поглядеть на то, что не делалось при дневном свете. В левадах на верхушки верб черной тучей спускались грачи. Тишина паутиной расплелась над бахчами. Из шалаша провожал Митька глазами до поворота тех, что шли по летнику, и внезапно услышал крик, выстрелы, еще и еще...

Выскочил Митька из шалаша на пригорок, увидел: по летнику к ярам бегут красногвардейцы, а казаки, припав на колено, суетливо стреляют, двое, махая шашками, бегут следом.

Выстрелы звоном будоражат застывшую тишину.

Тук-так, так-так... Та-та-тах!

Вот один споткнулся, упал на руки, вскочил, опять бежит... Казак ближе, ближе...

Вот, вот... Полукружьем блеснула шашка, упала на голову... рубит лежачего...

У Митьки в глазах темнеет и зноем наливается рот.

VII

В полночь к шалашу подскакали трое конных.

— Эй, бахчевник! Выдь на минутку!

Вышел Митька.

— Ты не видал вечером, куда побегли трое в солдатских шинелях?

— Не видал.

— Смотри не бреши. Строго ответишь за это!

— Не видал... не знаю...

— Ну, делать тут нечего. Надо по ярам до Филиновско-

го леса ехать. Лес оцепим, там их, гадов, и сцапаем...

— Трогай, Богачев...

До белой зари не спал Митька. На востоке погромыхивал гром, небо густо залохматело свинцовыми тучами, молния слепила глаза. Находил дождь.

Перед рассветом услыхал Митька возле шалаша шорох и стон.

Прислушался, стараясь не ворохнуться. Ужас параличом сковал тело. Снова шорох и протяжный стон.

— Кто тут?

— Человек добрый, выйди, ради бога!

Вышел Митька, нетвердо ступая дрожащими ногами, и у задней стены шалаша увидел запрокинувшегося навзничь человека.

— Кто такое?

— Не выдай... не дай пропасть... Я вчера из-под расстрела убег... казаки ищут... у меня нога... прострелена...

Хочет Митька слово сказать, а горло душат судороги, опустился на колени, подполз на четвереньках и ноги в солдатских обмотках обнял.

— Федя... Братунюшка! Родненький...

Нарубил и перетаскал в шалаш ворох засохших подсолнечных будыльев, уложил Федора в углу, навалил бурьяну и подсолнухов, а сам пошел по бахчам.

До полудня гонял с зеленых курчавых полос настырных грачей, самого тянуло пойти в шалаш, смотреть в родные братнины глаза, слушать еще и еще рассказ о пережитых страданиях и радостях. Твердо было решено между ними: как только смеркнется — завязать Федору покрепче раненую ногу и знакомыми стежками лесными кружно пройти до Дона, переплыть на ту сторону, к тем, у кого правда живет, кто бьется с казаками за землю и бедный народ. С утра до полудня по летнику скакали из станицы казаки, раза два заворачивали к Митьке напиться воды в шалаше. Уже перед вечером увидал Митька, как с песчаного кургана, блестевшего белой лысиной, съехали человек восемь конных и шагом пустили под гору усталых, спотыкающихся лошадей. Сел Митька возле шалаша, провожал глазами сутулые фигуры верховых, не поворачивая головы, сказал Федору вполголоса:

— Лежи, не ворочайся, Федя! Один конный бегит по бахчам к шалашу.

Из-под вороха бурьяна глухо загудел голос Федора:

— А остальные ждут его или поскакали в станицу?

— Энти тронули рысью, скрываются под горою!.. Ну, лежи.

Привстав на стременах, покачивается казак, плетью помахивает, лошадь от пота мокрая.

Шепнул Митька, бледнея:

— Федя... отец скачет!..

Рыжая отцовская борода по́том взмокла, обгоревшее на солнце лицо — иссиня-багрово. Осадил лошадь у самого шалаша, слез, к Митьке подошел вплотную.

— Говори: где Федор?

Вонзил в побелевшее Митькино лицо кровью налитые глаза. От синего казачьего мундира по́том воняет и нафталином.

— Был он у тебя ночью?

— Нет.

— А это что за кровь возле шалаша?

Нагнулся отец к земле, пунцовая шея вывалилась из-под воротника жирными складками.

— А ну, веди в шалаш!

Вошли — отец впереди, почерневший Митька сзади.

— Смотри, змееныш... Ежели укрываешь ты Федьку, то и его, и тебя на распыл пущу!..

— Нету... не знаю...

— Это что у тебя за бурьян в углу?

— Сплю на нем.

— Посмотрим.— Шагнул отец в угол, присел на корточки, медленно расковырял чахлый шуршащий бурьянок и подсолнечные будылья.

Митька сзади. Перед глазами синий обтянутый на спине мундир колыхается плавными кругами.

Через минуту изо рта отца хриплое:

— Ага-а-а-а... Это что?

Босая Федорова нога торчит промеж коричневых стеблей. Отец правой рукой лапает на боку кобуру нагана. Качаясь, прыгнул Митька, цепко ухватил стоящий у стенки топор, ухнул от внезапно нахлынувшего тошного удушья и, с силой взмахнув топором, ударил отца в затылок...

* * *

Прикрыли похолодевшее тело бурьяном и ушли. Ярами, буреломом, густым терновником шли, ползли, продирались. Верстах в восьми от станицы, там, где Дон, круто заворачивая, упирается в седую гору, спустились к воде.

Плыли на косу; быстро сносило нахолодавшей за ночь водой. Федор, стоная, цеплялся за Митькино плечо.

Доплыли. Долго лежали на влажном зернистом песке.

— Ну, пора, Федя! Эта половина, должно быть, неширокая.

Спустились к воде. Дон снова облизывает лица и шеи, отдохнувшие руки уверенней кромсают воду.

Под ногами земля. Застывшая в темноте гущина леса. Торопливо зашагали...

Светало. Где-то совсем близко ахнуло орудие. На востоке чахло румяную каемку протянул рассвет.

1925

НАХАЛЕНОК

Снится Мишке, будто дед срезал в саду здоровенную вишневую хворостину, идет к нему, хворостиной машет, а сам строго так говорит:

— А ну, иди сюда, Михайло Фомич, я те полохану по тем самым местам, откель ноги растут!..

— А за что, дедуня? — спрашивает Мишка.

— А за то, что ты в курятнике из гнезда чубатой курицы все яйца покрал и на каруселю отнес, прокатал!..

— Дедуня, я нонешний год не катался на каруселях! — в страхе кричит Мишка.

Но дед степенно разгладил бороду да как топнет ногой:

— Ложись, постреленыш, и спущай портки!..

Вскрикнул Мишка и проснулся. Сердце бьется, словно в самом деле хворостины отпробовал. Чуточку открыл левый глаз — в хате светло. Утренняя зорька теплится за окошком. Приподнял Мишка голову, слышит в сенцах голоса: мамка визжит, лопочет что-то, смехом захлебывается, дед кашляет, а чей-то чужой голос: «Бу-бу-бу...»

Протер Мишка глаза и видит: дверь открылась, хлопнула, дед в горницу бежит, подпрыгивает, очки на носу у него болтаются. Мишка сначала подумал, что поп с певчими пришел (на Пасху, когда приходил он, дед так же суетился), да следом за дедом прет в горницу чужой большущий солдат в черной шинели и в шапке с лентами, но без козырька, а мамка на шее у него висит, воет.

Посреди хаты стряхнул чужой человек мамку с шеи да как гаркнет:

— А где мое потомство?

Мишка струхнул, под одеяло забрался.

— Минюшка, сыночек, что ж ты спишь? Батянька твой со службы пришел! — кричит мамка.

Не успел Мишка глазом моргнуть, как солдат сграбастал его, подкинул под потолок, а потом прижал к груди и ну рыжими усами, не на шутку, колоть губы, щеки, глаза. Усы в чем-то мокром, соленом. Мишка вырываться, да не тут-то было.

— Вон у меня какой большевик вырос!.. Скоро батьку перерастет!.. Го-го-го! — кричит батянька и знай себе пестает Мишку — то на ладонь посадит, вертит, то опять до самой потолочной перекладины подкидывает.

Терпел, терпел Мишка, а потом брови сдвинул по-дедовски, строгость на себя напустил и за отцовы усы ухватился.

— Пусти, батянька!

— Ан вот не пущу!

— Пусти! Я уже большой, а ты меня, как детенка, нянчишь!..

Посадил отец Мишку к себе на колено, спрашивает, улыбаясь:

— Сколько ж тебе лет, пистолет?

— Восьмой идет,— поглядывая исподлобья, буркнул Мишка.

— А помнишь, сынушка, как в позапрошлом годе я тебе пароходы делал? Помнишь, как мы в пруду их пущали?

— Помню!..— крикнул Мишка и несмело обхватил руками батянькину шею.

Тут и вовсе пошло развеселье: посадил отец Мишку верхом к себе на шею, за ноги держит и по горнице кругом, а потом как взбрыкнет, как заржет по-лошадиному, у Мишки от восторга аж дух занялся. Мать за рукав его тянет, орет:

— Иди на двор, играйся!.. Иди, говорят тебе, варнак этакий! — И отца просит: — Пусти его, Фома Акимыч! Пусти, пожалуйста!.. Не даст он и поглядеть на тебя, сокола ясного. Два года не видались, а ты с ним займаешься!

Ссадил Мишку отец на пол и говорит:

— Беги, с ребятами играйся, опосля придешь, я тебе гостинцев дам.

Притворил Мишка за собой дверь, сначала думал послу-

шать в сенцах, о чем будет разговор в хате, но потом вспомнил: никто еще из ребят не знает, что пришел батянька,— и через двор, по огороду, топча картофельные лунки, пыхнул к пруду.

Выкупался Мишка в вонючей, застоявшейся воде, обвалялся в песке, нырнул в последний раз и, чикиляя на одной ноге, натянул штанишки. Совсем было собрался идти домой, но тут подошел к нему Витька — попов сынок.

— Не уходи, Мишка! Давай искупаемся и пойдем к нам играть. Тебе мамочка разрешила приходить к нам.

Мишка левой рукой поддернул сползающие штанишки, поправил на плече помочь и нехотя сказал:

— Я с тобой не хочу играть. У тебя из ушей воняет дюже!..

Витька ехидно прищурил левый глаз, сказал, сталкивая с костлявых плеч вязаную рубашечку:

— Это от золотухи, а ты — мужик, и тебя мать под забором родила!..

— А ты видал?

— Я слыхал, как наша кухарка рассказывала мамочке.

Мишка разгреб ногой песок и глянул на Витьку сверху вниз.

— Брешет твоя мамочка! Зато мой батянька на войне воевал, а твой — кровожад и чужие пироги трескает!..

— Нахаленок!..— кривя губы, крикнул попович.

Мишка схватил обточенный водой камешек-голыш, но попович сдержал слезы и очень ласково улыбнулся:

— Ты не дерись, Миша, не сердись! Хочешь, я тебе отдам свой кинжал, какой из железа сделал?

Мишкины глаза блеснули радостью, отшвырнул в сторону голыш, но, вспомнив про отца, сказал гордо:

— Мне батянька получше твоего с войны принес!

— Вре-ошь!..— недоверчиво протянул Витька.

— Сам врешь!.. Раз говорю — принес, значится — принес!.. И заправское ружье...

— Подумаешь, какой ты стал богатый! — завистливо усмехнулся Витька.

— И ишо у него есть шапка, а на шапке висят махры и золотые слова прописаны, как у тебя в книжках.

Витька долго думал, чем бы удивить Мишку, морщил лоб и почесывал бледный живот.

— А мой папочка скоро будет архиреем, а твой был пастухом. Ага, что?..

Мишке надоело стоять, повернулся и пошел к огороду. Попович его окликнул:

— Миша, Миша, я что-то скажу тебе!

— Говори.

— Подойди ко мне!..

Мишка подошел и подозрительно скосился:

— Ну, говори!

Попович заплясал по песку на тоненьких кривых ножках, улыбаясь, злорадно крикнул:

— Твой отец — коммуняка! Вот как только помрешь ты и душа твоя прилетит на небо, а бог и скажет: «За то, что твой отец был коммунистом, — отправляйся в ад!..» И начнут тебя там черти на сковородках поджаривать!..

— А тебя, думаешь, не зачнут поджаривать?

— Мой папочка — священник!.. Ты ведь дурак необразованный и ничего не понимаешь...

Мишке стало страшно. Повернулся и молча побежал домой.

У огородного плетня остановился, крикнул, грозя поповичу кулаком:

— Вот спрошу у дедушки. Коли брешешь — не ходи мимо нашего двора!

Перелез через плетень, к дому бежит, а перед глазами сковородка, а на ней его, Мишку, жарят... Горячо сидеть, а кругом сметана кипит и пенится пузырями. По спине мурашки, скорее бы до деда добежать, расспросить...

Как на грех, в калитке свинья застряла. Голова с той стороны, а сама с этой, ногами в землю упирается, хвостом крутит и пронзительно визжит. Мишка — выручать: попробовал калитку открыть — свинья хрипеть начинает. Сел на нее верхом, свинья поднатужилась, вывернула калитку, ухнула и по двору к гумну вскачь. Мишка пятками в бока ее толкает, мчится так, что ветром волосы назад закидывает. У гумна соскочил — глядь, а дед на крыльце стоит и пальцем манит.

— Подойди ко мне, голубь мой!

Не догадался Мишка, зачем дед кличет, а тут опять про адскую сковородку вспомнил и — рысью к деду.

— Дедуня, дедуня, а на небе черти бывают?

— Я тебе зараз всыплю чертей!.. Поплюю в кой-какие места да хворостиной высушу!.. Ах ты лихоманец вредный, ты на что ж это свинью объезжаешь?

Сцапал дед Мишку за вихор, зовет из горницы мать:

— Поди на своего умника полюбуйся!

Выскочила мать.

— За что ты его?

— Как же за что? Гляжу, а он по двору на свинье скачет, аж ветер пыльцу схватывает!..

— Это он на супоросой свинье катался? — ахнула мать.

Не успел Мишка рта раскрыть в свое оправдание, как дед снял ремешок, левой рукой портки держит, чтобы не упали, а правой Мишкину голову промеж колен просовывает. Выпорол и при этом очень строго говорил:

— Не езди на свинье!.. Не езди!..

Мишка вздумал было крик поднять, а дед и говорит:

— Значит, ты, сукин кот, не жалеешь батяньку? Он с дороги уморился, прилег уснуть, а ты крик подымаешь?

Пришлось замолчать. Попробовал брыкнуть деда ногой — не достал. Подхватила мать Мишку — в хату толкнула:

— Сиди тут, сто чертов твоей матери!.. Я до тебя доберусь — не по-дедовски шкуру спущу!..

Дед в кухне на лавке сидит, изредка на Мишкину спину поглядывает.

Повернулся Мишка к деду, размазал кулаком последнюю слезу, сказал, упираясь в дверь задом:

— Ну, дедунюшка... попомни!

— Ты что ж это, поганец, деду грозишь?

Мишка видит, как дед снова расстегивает ремень, и заблаговременно чуточку приоткрывает дверь.

— Значит, ты мне грозишь? — переспрашивает дед.

Мишка вовсе исчезает за дверью. Выглядывая в щелку, пытливо караулит каждое движение деда, потом заявляет:

— Погоди, погоди, дедунюшка!.. Вот выпадут у тебя зубы, а я жевать тебе не буду!.. Хоть не проси тогда!

Дед выходит на крыльцо и видит, как по огороду, по зеленым лохматым коноплям ныряет Мишкина голова, мелькают синие штанишки. Долго грозит ему костылем, а у самого в бороде хоронится улыбка.

* * *

Для отца он — Минька. Для матери — Ми́нюшка. Для деда — в ласковую минуту — постреленыш, в остальное время, когда дедовские брови седыми лохмотьями свисают на глаза, — «эй, Михайло Фомич, иди, я тебе уши оболтаю!».

А для всех остальных: для соседок-пересудок, для ребятишек, для всей станицы — Мишка и «нахаленок».

Девкой родила его мать. Хотя через месяц и обвенчалась с пастухом Фомою, от которого прижила дитя, но прозвище «нахаленок» язвой прилипло к Мишке, осталось на всю жизнь за ним.

Мишка собой щуплый, волосы у него с весны были как лепестки цветущего подсолнечника, в июне солнце обожгло их жаром, взлохматило пегими вихрами; щеки, точно воробьиное яйцо, исконопатило веснушками, а нос от солнышка и постоянного купания в пруду облупился, потрескался шелухой. Одним хорош колченогий Мишка — глазами. Из узеньких прорезей высматривают они, голубые и плутовские, похожие на нерастаявшие крупинки речного льда.

Вот за глаза-то да за буйную непоседливость и любит Мишку отец. Со службы принес он сыну в подарок старый-престарый, зачерствевший от времени вяземский пряник и немножко приношенные сапожки. Сапоги мать завернула в полотенце и прибрала в сундук, а пряник Мишка в тот же вечер раскрошил на пороге молотком и съел до последней крошки.

На другой день проснулся Мишка с восходом солнца. Набрал из чугуна пригоршню степлившейся воды, размазал по щекам вчерашнюю грязь, просыхать выбежал на двор.

Мамка возится возле коровы, дед на завалинке посиживает. Подозвал Мишку:

— Скачи, постреленыш, под амбар! Курица там кудахтала, должно, яйцо обронила.

Мишка деду всегда готов услужить: на четвереньках юркнул под амбар, с другой стороны вылез и был таков! По огороду взбрыкивает, бежит к пруду, оглядывается — не смотрит ли дед? Пока добежал до плетня, ноги крапивой обстрекал. А дед ждет, покрякивает. Не дождался и пополз под амбар. Вымазался куриным пометом, жмурясь от парной темноты и больно стукаясь головой о перекладины, дополз до конца.

— Экий ты дуралей, Мишка, право слово!.. Ищешь, ищешь и не найдешь!.. Разве курица, она будет тут несться? Вот тут, под камешком, и должно быть яйцо. Где ты тут полозишь, постреленыш?

Деду в ответ тишина. Отряхнул с портов прилипшие комочки навоза, вылез из-под амбара. Щурясь, долго глядел на пруд, увидал Мишку и рукой махнул...

Ребята возле пруда окружили Мишку, спрашивают:
— Твой батянька на войне был?
— Был.
— А что он там делал?
— Известно что — воевал!..
— Брешешь!.. Он вшей там убивал и при кухне мослы грыз!..
Захохотали ребята, пальцами в Мишку тычут, прыгают вокруг. От горькой обиды слезы навернулись у Мишки на глаза, а тут еще Витька-попович больно задел его.
— А твой отец коммунист? — спрашивает.
— Не знаю...
— Я знаю, что коммунист. Папочка сегодня утром говорил, что он продал душу чертям. И еще говорил, что всех коммунистов будут скоро вешать!..
Ребята примолкли, а у Мишки сжалось сердце. Батяньку его будут вешать — за что? Крепко сжал зубы и сказал:
— У батяньки большущее ружье, и он всех буржуев поубивает!
Витька, выставив вперед ногу, сказал торжествующе:
— Руки у него коротки! Папочка не даст ему святого благословения, а без святости он ничего не сделает!..
Прошка, сын лавочника, раздувая ноздри, толкнул Мишку в грудь и крикнул:
— А ты не дюже со своим батянькой!.. Он у моего отца товары забирал, как поднялась революция, а отец сказал: «Ну, нешто не перевернется власть, а то Фомку-пастуха первого убью!..»
Наташка, Прошкина сестра, топнула ногой:
— Бейте его, ребята, что смотреть?!
— Бей коммунячьего сына!..
— Нахаленок!..
— Звездани его, Прошка!
Прошка взмахнул прутом и ударил Мишку по плечу, Витька-попович подставил ногу, и Мишка навзничь грузно шлепнулся на песок.
Ребята заорали, кинулись на него. Наташка тоненько визжала и ногтями царапала Мишкину шею. Кто-то ногою больно ударил его в живот.
Мишка, стряхнув с себя Прошку, вскочил и, виляя по песку, как заяц от гончих, пустился домой. Вслед ему засвистали, бросили камень, но догонять не побежали.
Только тогда перевел Мишка дух, когда с головой окунулся в зеленую колючую заросль конопли. Присел на

влажную пахучую землю, вытер с расцарапанной шеи кровь и заплакал; сверху, пробираясь сквозь листья, солнце старалось заглянуть Мишке в глаза, сушило на щеках слезы и ласково, как маманька, целовало его в рыжую вихрастую маковку.

Сидел долго, пока не высохли глаза; потом встал и тихонько побрел во двор.

Под навесом отец смазывает дегтем колеса повозки. Шапка у него съехала на затылок, ленты висят, а синяя рубаха на груди в белых полосах. Подошел Мишка боком и стал возле повозки. Долго молчал. Осмелившись, тронул батянькину руку, спросил шепотом:

— Батя, ты на войне что делал?

Отец улыбнулся в рыжие усы, сказал:

— Воевал, сыночек!

— А ребята... ребята гутарят, что ты там только вшей убивал!..

Слезы вновь перехватили Мишкино горло. Отец засмеялся и подхватил Мишку на руки.

— Брешут они, мой родной! Я на пароходе плавал. Большой пароход по морю ходит, вот на нем-то я и плавал, а потом пошел воевать.

— С кем ты воевал?

— С господами воевал, мой любонький. Ты еще мал, вот и пришлось мне на войну идти за тебя. Про это и песня поется.

Отец улыбнулся и, глядя на Мишку, притопывая ногой, запел потихоньку:

Ой, Михаил, Михаля, Михалятко ты мое!
Не ходи ты на войну, нехай батька иде,
Батько — старенький, на свити нажився...
А ты — молоденький, тай ще не женився...

Мишка забыл про обиду, нанесенную ему ребятами, и засмеялся — оттого, что у отца рыжие усы затопорщились над губой, как сибирьки, из каких маманька веники вяжет, а под усами смешно шлепают губы и рот раскрыт круглой черной дыркой.

— Ты мне сейчас не мешай, Минька, — сказал отец, — я повозку буду чинить, а вечером спать ляжешь и я тебе про войну все расскажу!

* * *

День растянулся, как длинная глухая дорога в степи. Солнце село, по станице прошел табун, улеглась пыль, и

с почерневшего неба застенчиво глянула первая звездочка.

Мишку одолевает нетерпение, а мать, как нарочно, долго провозилась у коровы, долго цедила молоко, в погреб полезла и там прокопалась битый час. Мишка вьюном около нее крутился.

— Скоро вечерять будем?

— Успеешь, непоседа, оголодал!..

Но Мишка ни на шаг не отстает от нее: мать в погреб — и он за ней, мать на кухню — и он следом. Пиявкой присосался, за подол уцепился, волочится.

— Ма-а-амка!.. Ско-реича вечерять!..

— Да отвяжись ты, короста липучая!.. Жрать захотел — взял кусок и лопай!

А Мишка не унимается. Даже подзатыльник, схваченный от матери, и тот не помог.

За ужином кое-как наспех поглотал хлёбова и — опрометью в горницу. Далеко за сундук швырнул штанишки, с разбегу нырнул в постель под материно одеяло, сшитое из разноцветных лоскутьев. Притаился и ждет, когда придет батянька про войну рассказывать.

Дед на коленях стоит перед образами, шепчет молитвы, поклоны отстукивает. Приподнял Мишка голову: дед, трудно сгибая спину, пальцами левой руки в половицу упирается и лбом в пол — стук!.. А Мишка локтем в стену — бух!..

Дед опять пошепчет, пошепчет и поклон стукает. Мишка себе в стену бухает. Рассердился дед, повернулся к Мишке:

— Я тебе, окаянный, прости, господи... Постучи у меня, я те стукну!

Быть бы драке, но в горницу вошел отец.

— Ты зачем же, Минька, тут лег? — спрашивает.

— Я с маманькой сплю.

Отец сел на кровать и молча начал крутить усы. Потом, подумав, сказал:

— А я тебе в горнице с дедом постелил...

— Я с дедом не ляжу!..

— Это почему ж?..

— У него от усов табаком дюже воняет!

Отец опять покрутил усы и вздохнул:

— Нет, сынок, ты уж ложись с дедом...

Мишка натянул на голову одеяло и, выглядывая одним глазом, обиженно сказал:

— Вчерась ты, батянька, лег на моем месте и нынче... Ложись ты с дедом!

Сел на кровати и, обхватив руками отцову голову, прошептал:

— Ты ложись с дедом, а то маманька с тобой, должно быть, не будет спать! От тебя тоже табаком воняет!

— Ну, ладно, лягу с дедом, а про войну рассказывать не буду. — Отец поднялся и пошел в кухню.

— Батянька!

— Ну?

— Ложись уж тут... — вздыхая, сказал Мишка и встал. — А про войну расскажешь?

— Расскажу.

Дед лег к стенке, а Мишку положил с краю. Немного погодя пришел отец. Придвинул к кровати скамейку, сел и закурил вонючую цигарку.

— Видишь, оно какое дело было... Помнишь, за нашим гумном когда-то был посев лавочника?..

Мишке припомнилось, как раньше бегал он по душистой высокой пшенице. Перелезет через каменистую огорожу гумна и — в хлеба. Пшеница с головой его хоронит, тяжелые черноусые колосья щекочут лицо. Пахнет пылью, ромашкой и степным ветром. Маманька говорила, бывало, Мишке:

— Не ходи, Минюшка, далеко в хлеба, а то заблудишься!

Батянька помолчал и сказал, гладя Мишку по голове:

— А помнишь, как ты со мной ездил за Песчаный курган? Хлеб наш там был...

И опять припомнилось Мишке: за Песчаным курганом вдоль дороги узенькая, кривая полоска хлеба. Приехал Мишка с отцом туда, а полоска вся скотом потравлена. Лежат грязными ворохами втолченные в землю колосья, под ветром качаются пустые стебли. Помнит Мишка, как батянька, такой большой и сильный, страшно кривил лицо и по запыленным щекам его скупо текли слезы. Мишка тоже плакал тогда, глядя на него...

Обратной дорогой спросил отец у бахчевника:

— Скажи, Федот, кто потравил мой хлеб?

Бахчевник сплюнул под ноги и ответил:

— Лавочник гнал скотину на рынок и нарочно запустил на твою полосу...

...Отец придвинул скамью ближе, заговорил:

— Лавочник и остальные богатеи позаняли всю землю, а бедным сеять было не на чем. Вот так везде было, не в одной нашей станице. Шибко обижали они нас тогда... Жить стало туго, нанялся я в пастухи, а потом забрали меня на службу. На службе мне было плохо, офицеры за всякую малость в морду били... А потом объявились большевики, и старшой у них — по прозвищу Ленин. Сам-то собой он вроде немудрящий, но ума дюже ученого, даром что наших, мужицких, кровей. Задали большевики нам такую заковырину, что мы и рты пораззявили. «Что вы, говорят, мужики и рабочие, раззяву-то ловите?.. Гоните господ и начальство в три шеи да поганой метлой! Все — ваше!..»

Вот этими словами и растревожили они нас. Пораскинули мы умишками — верно. Отобрали у господ землю и имения, но их затошнило от поганого житья, нащетинились и прут на нас, на мужиков и рабочих, войной... Понял, сынок?

А тот самый Ленин — старшой у большевиков — народ поднял, ровно пахарь полосу плугом. Собрал солдат и рабочих и ну наколупывать господ! Аж пух и перья с них летят! Стали солдаты и рабочие прозываться Красной гвардией. Вот я и был в Красной гвардии. Жили мы в большущем доме, звался он Смольным. Сенцы там, сынок, длиннющие и горниц так много, что заплутаться можно.

Стою я раз ночью, караулю вход. Холодно на дворе, а у меня одна шинель. Ветер так и нижет... Только вышли из этого дома два человека и идут мимо меня. Подходят они ближе, и угадываю я в одном из них Ленина. Подошел ко мне, спрашивает ласково:

— Не холодно вам, товарищ?

А я ему и говорю:

— Нет, товарищ Ленин, не то что холод, но и никакие враги не сломят нас! Не для того мы забрали власть в свои руки, чтобы отдать ее буржуазам!..

Он засмеялся и руку мне жмет крепко. А потом пошел потихоньку к воротам.

Отец помолчал, достал из кармана кисет, зашелестел бумагой, закуривая, чиркнул спичкой, и на рыжем щетинистом усе увидал Мишка светлую и блестящую слезинку, похожую на каплю росы, какие по утрам висят на кончиках крапивных листьев.

— Вот какой он был. Обо всех заботу нес. Об каждом солдате сердцем хворал... После этого часто я его видал.

Идет мимо меня, увидит еще вон откель, улыбнется и спрашивает:

— Так не сломят нас буржуи?

— В носе у них не кругло, товарищ Ленин! — бывало, скажу ему.

По ему слову и вышло, сынок! Землю и фабрики мы забрали, а богатеев — кровососов наших — побоку!.. Вырастешь — не забывай, что твой батянька матросом был и за коммунию четыре года кровь проливал. К тем годам и я помру, и Ленин помрет, а дело наше довеку живо будет!.. Когда вырастешь — будешь воевать за Советскую власть, как твой батька воевал?

— Буду! — крикнул Мишка, вскочил на кровати, хотел с размаху повиснуть на батянькиной шее, да забыл, что рядом дед лежит, ногой на живот ему наступил.

Дед как крякнет, руку протянул, хотел сцапать Мишку за вихор, но батянька схватил Мишку на руки и понес в горницу.

На руках у него Мишка и уснул. Сначала долго думал о диковинном человеке — Ленине, о большевиках, о войне, о пароходах. Сначала сквозь дрему слышал сдержанные голоса, ощущал сладкий запах пота и махорки, — потом глаза слиплись, веки словно кто ладонями придавил.

Не успел уснуть, увидал во сне город: улицы широкие, куры в просыпанной золе купаются; на что в станице их многое множество, а в городе куда больше. Дома точь-в-точь как отец рассказывал: большущая хата, крытая свежим камышом, на трубе у нее стоит еще одна хата, у той на трубе еще одна, а труба самой верхней хаты в небо воткнулась.

Идет Мишка по улице, голову кверху задирает, рассматривает, и вдруг откуда ни возьмись шасть ему навстречу высоченный человек в красной рубахе.

— Ты, Мишка, почему без делов шляешься? — спрашивает он очень ласково.

— Меня дедуня пустил поиграть, — отвечает Мишка.

— А ты знаешь, кто я такой?

— Нет, не знаю...

— Я — товарищ Ленин!..

У Мишки со страху колени подогнулись. Хотел тягу задать, но человек в красной рубахе взял его, Мишку, за рукав и говорит:

— Совести у тебя, Мишка, и на ломаный грош нету! Хорошо ты знаешь, что я за бедный народ воюю, а почему-то в мое войско не поступаешь?

— Меня дедуня не пущает!.. — оправдывается Мишка.

— Ну, как хочешь, — говорит товарищ Ленин, — а без тебя у меня — неуправка! Должон ты ко мне в войско вступить, и шабаш!..

Мишка взял его за руку и сказал очень твердо:

— Ну, ладно, я без спросу поступлю в твою войску и буду воевать за бедный народ. Но ежели дедуня меня за это зачнет хворостиной драть, тогда ты за меня заступись!..

— Обязательно заступлюсь! — сказал товарищ Ленин и с тем пошел по улице, а Мишка почувствовал, как от радости у него захватило дух, нечем дыхнуть; хочет он что-то крикнуть — язык присох...

Дрогнул Мишка на постели, брыкнул деда ногами и проснулся.

Дед во сне мычит, жует губами, а в оконце видно, как за прудом нежно бледнеет небо и розовой кровянистой пеной клубятся плывущие с востока облака.

* * *

С тех пор каждый вечер рассказывал отец Мишке про войну, про Ленина, про то, в каких краях бывал.

В субботу вечером сторож из исполкома привел во двор низенького человека в шинели и с кожаным портфелем под мышкой. Подозвал деда, сказал:

— Вот привел к вам на хватеру товарища советского сотрудника. Он прибывши из городу и будет у вас ночевать. Дадите ему повечерять, дедушка.

— Оно конечно, мы не прочь, — сказал дед. — А мандаты у вас имеются, господин товарищ?

Мишка удивился дедовой учености и, засунув палец в рот, остановился послушать.

— Есть, дедушка, все есть! — улыбнулся человек с кожаным портфелем и пошел в горницу.

Дед за ним, а Мишка за дедом.

— Вы по каким же делам к нам прибыли? — дорогой спросил дед.

— Я приехал перевыборы проводить. Будем выбирать председателя и членов Совета.

Немного погодя пришел с гумна отец. Поздоровался с чужим человеком и велел маманьке собирать ужинать. После ужина отец и чужак сели на лавке рядом, чужак расстегнул кожаный портфель, достал оттуда пачку бумаг и начал отцу показывать. Мишке не терпится, вьется около,

хочет взглянуть. Взял отец одну бумажку, Мишке показывает:

— Гляди, Минька, вот это самый и есть Ленин!

Мишка вырвал у отца карточку, впился в нее глазами и рот от удивления раскрыл: на бумаге стоит во весь рост небольшой человек, вовсе даже не в красной рубахе, а в пиджаке. Одна рука в карман штанов засунута, а другой вперед себя показывает. Уперся Мишка в него глазами, в один миг всего ощупал; крепко, навовсе, навсегда вобрал в память изогнутые брови, улыбку, притаившуюся во взгляде и в углах губ, каждую черточку лица запомнил.

Чужак взял из рук у Мишки карточку, защелкнул на замок портфель и пошел спать. Уже разделся, лег и закрылся шинелью, начал засыпать, когда услышал скрип двери. Приподнял голову:

— Кто это?

По полу шлепают чьи-то босые ноги.

— Кто там? — спросил он снова и около кровати неожиданно увидел Мишку.

— Тебе чего, малыш?

Мишка минуту постоял молча, потом, набравшись смелости, шепотом сказал:

— Ты, дяденька, вот чего... ты... отдай мне Ленина!..

Чужак молчит, голову свесил с кровати и смотрит на него.

Страх охватил Мишку; ну, как заскупится и не даст?

Стараясь одолеть дрожь в голосе, торопясь и захлебываясь, зашептал:

— Ты мне отдай его навовсе, а я тебе... я тебе подарю жестяную коробку хорошую, и ишо отдам все как есть бабки, и... — Мишка с отчаянием махнул рукой и сказал: — И сапоги, какие мне батянька принес, отдам!

— А зачем тебе Ленин? — улыбаясь, спросил чужак.

«Не даст!..» — мелькнула у Мишки мысль. Нагнул голову, чтобы не видно было слез, сказал глухо:

— Значит, надо!

Чужак засмеялся, достал из-под подушки портфель и подал Мишке карточку. Мишка ее под рубаху, к груди прижал, к сердцу крепко-накрепко, и — рысью из горницы. Дед проснулся, спрашивает:

— Ты чего бродишь, полуношник? Говорил тебе, не пей на ночь молока, а теперь вот приспичило!.. Помочись в помойное ведро, мне тебя на двор водить вовсе без надобности!

Мишка молчком лег, карточку обеими руками тискает, повернуться страшно: как бы не измять. Так и уснул.

Проснулся ни свет ни заря. Маманька только корову выдоила и прогнала в табун. Увидала Мишку, руками всплеснула:

— Что тебя лихоманец мучает! Это зачем такую рань поднялся?

Мишка карточку под рубахой жмет, мимо матери на гумно, под амбар юркнул.

Вокруг амбара растут лопухи и зеленой непролазной стеной щетинится крапива. Заполз Мишка под амбар, песок разгреб ладонью, сорвал пожелтевший от старости лист лопуха, завернул в него карточку и камешком привалил, чтобы ветер не унес.

С утра до вечера шел дождь. Небо закрылось сизым пологом, во дворе пенились лужи, по улице бежали наперегонки ручьи.

Пришлось Мишке сидеть дома. Уже смеркалось, когда дед и отец собрались и пошли в исполком на собрание. Мишка натянул дедов картуз и пошел следом. Исполком помещается в церковной сторожке. По кривым, грязным ступенькам влез, кряхтя, Мишка на крыльцо и прошел в комнату. Под потолком ползает табачный дым, народу полным полно. У окна за столом сидит чужак, что-то рассказывает собравшимся казакам.

Мишка потихоньку пробрался на самый зад и сел на скамью.

— Кто за то, товарищи, чтобы Фома Коршунов был председателем? Прошу поднять руки!

Сидевший впереди Мишки Прохор Лысенков, зять лавочника, крикнул:

— Гражданы!.. Прошу снять кандидатуру. Он нечестного поведения. Ишо когда пастухом табун наш стерег, замечен был!..

Мишка увидал, как Федот-сапожник встал с подоконника, закричал, махая руками:

— Товарищи, богатеям нежелательно в председатели пастуха Фому, но как он есть пролетарьят и за Советскую власть...

Зажиточные казаки, стоявшие кучей около двери, затопотали ногами, засвистали. Шум поднялся в исполкоме.

— Не нужен пастух!

— Пришел со службы — нехай к миру в пастухи нанимается!..

— К черту Фому Коршунова!

Мишка глянул на бледное лицо отца, стоявшего возле скамьи, и сам побелел от страха за него.

— Тише, товарищи!.. С собранья буду удалять! — орал чужак, грохая по столу кулаком.

— Своего человека из казаков выберем!..

— Не нужен!

— Не хо-о-тим... мать-перемать!.. — шумели казаки, и пуще всех Прохор, зять лавочника.

Здоровый рыжебородый казак с серьгой в ухе и в рваном, заплатанном пиджаке вскочил на скамью:

— Братцы!.. Вон оно куда дело заворачивает!.. Нахрапом желают богатеи посадить в председатели своего человека!.. А там опять...

Сквозь стонущий рев Мишка слышал только отдельные слова, которые выкрикивал казак с серьгой:

— Землю... переделы... бедноте суглинок... чернозем заберут себе...

— Прохора в председатели!.. — гудели около дверей.

— Про-о-хо-ра!.. Го-го-го!.. Га-га-га!..

Насилу угомонились. Чужак, хмуря брови и брызгаясь слюной, долго что-то выкрикивал.

«Должно, ругается», — подумал Мишка.

Чужак громко спросил:

— Кто за Фому Коршунова?

Над скамьями поднялось много рук. Мишка тоже поднял руку. Кто-то, перепрыгивая со скамьи на скамью, громко считал:

— Шестьдесят три... шестьдесят четыре... — Не глядя на Мишку, указал пальцем на его поднятую руку, выкрикнул: — шестьдесят пять!

Чужак что-то записал на бумажке, крикнул:

— Кто за Прохора Лысенкова, прошу поднять!

Двадцать семь казаков-богатеев и Егор-мельник дружно подняли руки. Мишка поглядел вокруг и тоже поднял руку. Человек, считавший голоса, поравнялся с ним, глянул сверху вниз и больно ухватился за его ухо.

— Ах ты шпаненок!.. Метись отсель, а то я тебе всыплю! Тоже голосует!..

Кругом засмеялись, а человек подвел Мишку к выходу, толкнул в спину. Мишка вспомнил, как говорил отец, ругаясь с дедом, и, сползая по скользким, грязным ступенькам, крикнул:

— Таких правов не имеешь!

— Я тебе покажу права!..

Обида была, как и все обиды, очень горькая.

Придя домой, Мишка всплакнул малость, пожаловался матери, но та сердито сказала:

— А ты не ходи, куда не след! Во всякую дыру нос суешь!.. Наказание мне с тобой, да и только!

На другой день утром сели за стол завтракать, не успели кончить, услышали далекую, глухую от расстояния музыку. Отец положил ложку, сказал, вытирая усы:

— А ведь это военный оркестр!

Мишку как ветром сдуло с лавки. Хлопнула дверь в сенцах, за окошком слышно частое — туп-туп-туп-туп...

Вышли во двор и отец с дедом, маманька до половины высунулась из окна.

В конец улицы зеленой колыхающейся волной вливались ряды красноармейцев. Впереди музыканты дуют в большущие трубы, грохает барабан, звон стоит над станицей.

У Мишки глаза разбежались. Растерянно закружился на одном месте, потом рванулся и подбежал к музыкантам. В груди что-то сладко защемило, подкатилось к горлу... Глянул Мишка на запыленные веселые лица красноармейцев, на музыкантов, важно надувших щеки, и сразу, как отрубил, решил: «Пойду воевать с ними!»

Вспомнил сон, и откуда только смелость взялась. Уцепился за подсумок крайнего.

— Вы куда идете? Воевать?

— А то как же? Ну да, воевать!

— А за кого вы воюете?

— За Советскую власть, дурашка! Ну, иди сюда, в середку.

Толкнул Мишку в середину рядов, кто-то, смеясь, щелкнул его по вихрастому затылку, другой на ходу достал из кармана измазанный кусок сахара, сунул ему в рот. На площади откуда-то из передних рядов крикнули:

— Сто-о-ой!..

Красноармейцы остановились, рассыпались по площади, густо легли в холодке, под тенью школьного забора. К Мишке подошел высокий бритый красноармеец с шашкой на боку. Спросил, морща губы в улыбке:

— Ты откуда к нам приблудился?

Мишка напустил на себя важность, поддернул сползающие штанишки.

— Я иду с вами воевать!

— Товарищ комбат, возьми его в помощники! — крикнул один из красноармейцев.

Кругом захохотали. Мишка часто заморгал, но человек с чудны́м прозвищем «комбат» нахмурил брови, крикнул строго:

— Ну, чего ржете, дурачье? Разумеется, мы возьмем его, но с условием... — Комбат повернулся к Мишке и сказал: — На тебе штаны с одной помочью, так нельзя, ты нас осрамишь своим видом!.. Вот, погляди: на мне две помочи, и на всех по две. Беги, пусть тебе матка пришьет другую, а мы тебя подождем тут... — Потом он повернулся к забору, крикнул, подмигивая: — Терещенко, пойди принеси новому красноармейцу ружье и шинель!

Один из лежавших под забором встал, приложил руку к козырьку, ответил:

— Слушаюсь!.. — и быстро пошел вдоль забора.

— Ну, живо беги! Пусть матка поскорее пришьет другую помочь!..

Мишка строго взглянул на комбата:

— Ты, гляди, не обмани меня!

— Ну, что ты? Как можно!..

От площади до дома далеко. Пока добежал Мишка до ворот — запыхался. Дух не переведет. Возле ворот на бегу скинул штанишки и, мелькая босыми ногами, вихрем ворвался в хату.

— Маманька!.. Штаны!.. Помочь пришей!..

В хате тишина. Над печью черным роем гудят мухи. Обежал Мишка двор, гумно, огород — ни отца, ни матери, ни деда нет. Вскочил в горницу — на глаза попался мешок. Отрезал ножом длинную ленту, пришивать некогда, да и не умеет Мишка. Наскоро привязал ее к штанам, перекинул через плечо, еще раз привязал спереди и опрометью под амбар.

Отвалил камень, глянул мельком на ленинскую руку, указывающую на него, Мишку, шепнул, переводя дух:

— Ну, вот видишь?.. И я поступил в твою войску!..

Бережно завернул карточку в лопух, сунул за пазуху — и по улице вскачь. Одной рукой карточку к груди жмет, другой штанишки поддергивает. Мимо соседского плетня бежал, крикнул соседке:

— Анисимовна!

— Ну?

— Перекажи нашим, чтоб обедали без меня!..

— Ты куда летишь, сорванец?

Мишка махнул рукой:

— На службу ухожу!..

Добежал до площади и стал как вкопанный. На площади — ни души. Под забором папиросные окурки, коробки от консервов, чьи-то изорванные обмотки, а в самом конце станицы глухо гремит музыка, слышно, как по утрамбованной дороге гоцают шаги уходящих.

Из Мишкиного горла вырвалось рыданье, вскрикнул и что есть мочи побежал догонять. И догнал бы, обязательно догнал, но против двора кожевника лежит поперек дороги желтый хвостатый кобель, зубы скалит. Пока перебежит Мишка на другую улицу — не слышно ни музыки, ни топота ног.

* * *

Дня через два в станицу пришел отряд человек в сорок. Солдаты были в седых валенках и замасленных рабочих пиджаках. Отец пришел из исполкома обедать, сказал деду:

— Приготовь, папаша, хлеб в амбаре. Продотряд пришел. Разверстка начинается.

Солдаты ходили по дворам: щупали штыками землю в сараях, доставали зарытый хлеб и свозили на подводах в общественный амбар.

Пришли к председателю. Передний, посасывая трубку, спросил у деда:

— Зарывал хлеб, дедушка? Признавайся!..

Дед разгладил бородку и с гордостью сказал:

— Ведь у меня сын-то коммунист!

Прошли в амбар. Солдат с трубкой обмерил взглядом закрома и улыбнулся.

— Отвези, дедушка, вот из этого закрома, а остальное тебе на прокорм и на семена.

Дед запряг в повозку старого Савраску, покряхтел, постонал, насыпал восемь мешков, сокрушенно махнул рукой и повез к общественному амбару. Маманька, хлеб жалеючи, немного поплакала, а Мишка помог деду насыпать зерно в мешки и пошел к попову Витьке играть.

Только что сели в кухне, разложили на полу вырезанных из бумаги лошадей, — в кухню вошли те же солдаты. Батюшка, путаясь в подряснике, выбежал навстречу им, засуетился, попросил пройти в комнаты, но солдат с трубкой строго сказал:

— Пойдемте в амбар! Где у вас хлеб хранится?

Из горницы выскочила растрепанная попадья, улыбнулась воровато:

— Представьте, господа, у нас хлеба ничуть нету!.. Муж еще не ездил по приходу...

— А подпол у вас есть?

— Нет, не имеется... Мы хлеб раньше держали в амбаре...

Мишка вспомнил, как вместе с Витькой лазил он из кухни в просторный подпол, сказал, поворачивая голову к попадье:

— А из кухни мы с Витькой лазили в подпол, забыла?..

Попадья, беднея, рассмеялась:

— Это ты спутал, деточка!.. Витя, вы бы пошли в сад поиграли!..

Солдат с трубкой прищурил глаза, улыбнулся Мишке:

— Как же туда спуститься, малец?

Попадья хрустнула пальцами, сказала:

— Неужели вы верите глупому мальчишке? Я вас уверяю, господа, что подпола у нас нет!

Батюшка, махнув полами подрясника, сказал:

— Не угодно ли, товарищ, закусить? Пройдемте в комнаты!

Попадья, проходя мимо Мишки, больно щипнула его за руку и ласково улыбнулась:

— Идите, детки, в сад, не мешайтесь здесь!

Солдаты перемигнулись и пошли по кухне, постукивая по полу прикладами винтовок. У стены отодвинули стол, сковырнули дерюгу. Солдат с трубкой приподнял половицу, заглянул в подпол и покачал головой:

— Как же вам не стыдно? Говорили — хлеба нет, а подпол доверху засыпан пшеницей!..

Попадья взглянула на Мишку такими глазами, что ему стало страшно и захотелось поскорее домой. Встал и пошел во двор. Следом за ним в сенцы выскочила попадья, всхлипнула и, вцепившись Мишке в волосы, начала его возить по полу.

Насилу вырвался, пустился без огляду домой. Захлебываясь слезами, рассказал все матери: та только за голову ухватилась:

— И что я с тобой буду делать?.. Иди с моих глаз долой, пока я тебя не отбуздала!..

С тех пор всегда, после каждой обиды, заползал Мишка под амбар, отваливал камешек, разворачивал лопух и,

смачивая бумагу слезами, рассказывал Ленину о своем горе и жаловался на обидчика.

Прошла неделя. Мишка скучал. Играть не с кем. Соседские ребятишки не водились с ним, к прозвищу «нахаленок» прибавилось еще одно, заимствованное от старших. Вслед Мишке кричали:

— Эй ты, коммуненок! Коммунячев недоносок, оглянись!..

Как-то пришел Мишка с пруда домой перед вечером; не успел в хату войти, услышал, как отец говорит резким голосом, а маманька голосит и причитает, ровно по мертвому. Проскользнул Мишка в дверь и видит: отец шинель свою скатал и сапоги надевает.

— Ты куда идешь, батянька?

Отец засмеялся, ответил:

— Уйми ты, сынок, мать!.. Душу она мне вынает своим ревом. Я на войну иду, а она не пущает!..

— И я с тобой, батянька!

Отец подпоясался ремнем и надел шапку с лентами.

— Чудак ты, право! Нельзя нам обоим уходить сразу!.. Вот я вернусь, потом ты пойдешь, а то хлеб поспеет, кто же его будет убирать? Мать по хозяйству, а дед старый...

Мишка, прощаясь с отцом, сдержал слезы, даже улыбнулся. Маманька, как и в первый раз, повисла у отца на шее, насилу он ее стряхнул, а дед только крякнул, целуя служивого, шепнул ему на ухо:

— Фомушка... сынок!.. Может, не ходил бы? Может, без тебя как-нибудь?.. Не ровен час, убьют, пропадем мы тогда!..

— Брось, батя... Негоже так. Кто же будет оборонять нашу власть, коли каждый к бабе под подол хорониться полезет?

— Ну, что ж, иди, ежели твое дело правое.

Отвернулся дед и незаметно смахнул слезу. Провожать отца пошли до исполкома. Во дворе исполкомском толпятся человек двадцать с винтовками. Отец тоже взял винтовку и, поцеловав Мишку в последний раз, вместе с остальными зашагал по улице на край станицы.

Обратно домой шел Мишка вместе с дедом. Маманька, покачиваясь, тянулась сзади. По станице реденький собачий лай, реденькие огни. Станица покрылась ночной темнотой, словно старуха черным полушалком. Накрапывал дождик, где-то за станицей, над степью, резвилась молния и глухими рассыпчатыми ударами бухал гром.

Подошли к дому. Мишка, молчавший всю дорогу, спросил у деда:

— Дедуня, а на кого батяня пошел воевать?

— Отвяжись!..

— Дедуня!

— Ну?

— С кем батянька будет воевать?

Дед заложил ворота засовом, ответил:

— Злые люди объявились по суседству с нашей станицей. Народ их кличет бандой, а по-моему, просто разбойники... Вот отец твой и пошел с ними стражаться.

— А много их, дедушка?

— Болтают, что около двухсот... Ну, иди, постреленыш, спать, будет тебе околачиваться!

Ночью Мишку разбудили голоса. Проснулся, полапал по кровати — деда нет.

— Дедуня, где ты?

— Молчи!.. Спи, неугомонный!

Мишка встал и ощупью в потемках добрался до окна. Дед в одних исподниках сидит на лавке, голову высунул в раскрытое окно, слушает. Прислушался Мишка и в немой тишине ясно услышал, как за станицей часто затарахтели выстрелы, потом размеренно захлопали залпы.

Трах!.. тра-тра-рах!.. та-трах!

Будто гвозди вбивают.

Мишку охватил страх. Прижался к деду, спросил:

— Это батянька стреляет?

Дед промолчал, а мать снова заплакала и запричитала.

До рассвета слышались за станицей выстрелы, потом все смолкло. Мишка калачиком свернулся на лавке и уснул тяжелым, нерадостным сном. На заре по улице к исполкому проскакала куча всадников. Дед разбудил Мишку, а сам выбежал во двор.

Во дворе исполкома черным столбом вытянулся дым, огонь перекинулся на постройки. По улицам засновали конные. Один подскакал к двору, крикнул деду:

— Лошадь есть, старик?

— Есть...

— Запрягай и езжай за станицу! В хворосте ваши коммунисты лежат!.. Навали и вези, нехай родственники зароют их!..

Дед быстро запряг Савраску, взял в дрожащие руки вожжи и рысью выехал со двора.

Над станицей поднялся крик, спешившиеся бандиты

тащили с гумен сено, резали овец. Один соскочил с лошади возле двора Анисимовны, вбежал в хату. Мишка услышал, как Анисимовна завыла толстым голосом. А бандит, брякая шашкой, выбежал на крыльцо, сел, разулся, разорвал пополам цветастую праздничную шаль Анисимовны, сбросил свои грязные портянки и обернул ноги половинками шали.

Мишка вошел в горницу, лег на кровать, придавил голову подушкой, встал только тогда, когда скрипнули ворота. Выбежал на крыльцо, увидал, как дед с бородой, мокрой от слез, вводит во двор лошадь.

Сзади на повозке лежит босой человек, широко разбросав руки, голова его, подпрыгивая, стукается об задок, течет на доски густая, черная кровь...

Мишка, качаясь, подошел к повозке, заглянул в лицо, искромсанное сабельными ударами: видны оскаленные зубы, щека висит, отрубленная вместе с костью, а на заплывшем кровью выпученном глазе, покачиваясь, сидит большая зеленая муха.

Мишка, не догадываясь, мелко подрагивая от ужаса, перевел взгляд и, увидев на груди, на матросской рубахе, синие и белые полосы, залитые кровью, вздрогнул, словно кто-то сзади ударил его по ногам, широко раскрытыми глазами взглянул еще раз в недвижное черное лицо и прыгнул на повозку.

— Батянюшка, встань! Батянюшка — миленький!.. — Упал с повозки, хотел бежать, но ноги подвернулись, на четвереньках прополз до крыльца и ткнулся головой в песок.

* * *

У деда глаза глубоко провалились внутрь, голова трясется и прыгает, губы шепчут что-то беззвучно.

Долго молча гладил Мишку по голове, потом, поглядывая на мать, лежавшую плашмя на кровати, шепнул:

— Пойдем, внучек, во двор...

Взял Мишку за руку и повел на крыльцо. Мишка, шагая мимо дверей горницы, зажмурил глаза, вздрогнул: в горнице на столе лежит батянька, молчаливый и важный. Кровь с него обмыли, но у Мишки перед глазами встает батянькин остекленевший кровянистый глаз и большая зеленая муха на нем.

Дед долго отвязывал у колодца веревку; пошел в ко-

нюшню, вывел Савраску, зачем-то вытер ему пенистые губы рукавом, потом надел на него узду, прислушался: по станице крики, хохот. Мимо двора едут верхами двое, в темноте посверкивают цигарки, слышны голоса:

— Вот мы им и сделали разверстку!.. На том свете будут помнить, как у людей хлеб забирать!..

Переборы лошадиных копыт умолкли, дед нагнулся к Мишкиному уху, зашептал:

— Стар я... не влезу на коня... Посажу я тебя, внучек, верхом, и езжай ты с богом на хутор Пронин... Дорогу я тебе укажу... Там должен быть энтот отряд, какой с музыкой шел через нашу станицу... Скажи им, нехай идут в станицу: тут, мол, банда!.. Понял?..

Мишка молча кивнул головой. Посадил его дед верхом, ноги привязал к седлу веревкой, чтобы не упал, и через гумно, мимо пруда, мимо бандитской заставы провел Савраску в степь.

— Вот в бугор прошла балка, над ней езжай, никуда не свиливай!.. Прямо в хутор приедешь. Ну, трогай, мой родной!..

Поцеловал дед Мишку и тихонько ударил Савраску ладонью.

Ночь месячная, видная. Савраска трюхает мелкой рысцой, пофыркивает и, чуя на спине легонькую ношу, убавляет шаг. Мишка трогает его поводьями, хлопает рукой по шее, трясется, подпрыгивая.

Перепела бодро посвистывают где-то в зеленой гущине зреющих хлебов. На дне балки звенит родниковая вода, ветер тянет прохладой.

Мишке страшно одному в степи, обнимает руками теплую Савраскину шею, жмется к нему маленьким зябким комочком.

Балка ползет в гору, спускается, опять ползет в гору. Мишке страшно оглянуться назад, шепчет, стараясь не думать ни о чем. В ушах у него засвистывает тишина, глаза закрыты.

Савраска мотнул головой, фыркнул, прибавил шагу. Чуточку приоткрыл Мишка глаза — увидел внизу, под горой, бледно-желтые огоньки. Ветром донесло собачий лай.

Теплой радостью на минуту согрелась Мишкина грудь. Толкнул Савраску ногами, крикнул:

— Но-о-о!..

Собачий лай ближе, видны на пригорке смутные очертания ветряка.

— Кто едет? — окрик от ветряка.

Мишка молча понукает Савраску. Над сонным хутором заголосили петухи.

— Стой! Кто едет?.. Стрелять буду!..

Мишка испуганно натянул поводья, но Савраска, почуявший близость лошадей, заржал и рванулся, не слушаясь поводьев.

— Сто-о-ой!..

Около ветряка ахнули выстрелы. Мишкин крик потонул в топоте конских ног. Савраска захрипел, стал в дыбки и грузно повалился на правый бок.

Мишка на мгновение ощутил страшную, непереносимую боль в ноге, крик присох у него на губах. Савраска наваливался на ногу все тяжелее и тяжелее.

Лошадиный топот ближе. Подскакали двое, звякая шашками, прыгнули с лошадей, нагнулись над Мишкой.

— Мать родная, да ведь это парнишка!..

— Неужто ухлопали?!

Кто-то сунул Мишке за пазуху руку, близко в лицо дохнул табаком. Чей-то обрадованный голос сказал:

— Он целенький!.. Никак, ногу ему конь раздавил?..

Теряя сознание, прошептал Мишка:

— Банда в станице... Батяньку убили... Сполком сожгли, а дедуня велел вам скорее ехать туда!

Перед тускнеющим Мишкиным взором поплыли цветные круги...

Прошел мимо батянька, усы рыжие крутит, смеется, а на глазу у него сидит, покачиваясь, большая зеленая муха. Дед прошагал, укоризненно качая головой, score маманька, потом маленький лобастый человек с протянутой рукой, и рука указывает прямо на него, на Мишку.

— Товарищ Ленин!.. — вскрикнул Мишка глохнущим голоском, силясь, приподнял голову — и улыбнулся, протягивая вперед руки.

1925

ЖЕРЕБЕНОК

Среди белого дня возле навозной кучи, густо облепленной изумрудными мухами, головой вперед, с вытянутыми передними ножонками выбрался он из мамашиной утробы

и прямо над собою увидел нежный, сизый, тающий комочек шрапнельного разрыва, воющий гул кинул его мокренькое тельце под ноги матери. Ужас был первым чувством, изведанным тут, на земле. Вонючий град картечи с цоканьем застучал по черепичной крыше конюшни и, слегка окропив землю, заставил мать жеребенка — рыжую Трофимову кобылицу — вскочить на ноги и снова с коротким ржаньем привалиться вспотевшим боком к спасительной куче.

В последовавшей затем знойной тишине отчетливей зажужжали мухи, петух, по причине орудийного обстрела не рискуя вскочить на плетень, где-то под сенью лопухов разок-другой хлопнул крыльями и непринужденно, но глухо пропел. Из хаты слышалось плачущее кряхтенье раненого пулеметчика. Изредка он вскрикивал резким осипшим голосом, перемежая крики неистовыми ругательствами. В палисаднике на шелковистом багрянце мака звенели пчелы. За станицей в лугу пулемет доканчивал ленту, и под его жизнерадостный строчащий стук, в промежутке между первым и вторым орудийными выстрелами, рыжая кобыла любовно облизала первенца, а тот, припадая к набухшему вымени матери, впервые ощутил полноту жизни, неизбывную сладость материнской ласки.

Когда второй снаряд жмякнулся где-то за гумном, из хаты, хлопнув дверью, вышел Трофим и направился к конюшне. Обходя навозную кучу, он ладонью прикрыл от солнца глаза и, увидев, как жеребенок, подрагивая от напряжения, сосет его, Трофимову, рыжую кобылу, растерянно пошарил в карманах, дрогнувшими пальцами нащупал кисет и, слюнявя цигарку, обрел дар речи:

— Та-а-ак... Значит, ожеребилась? Нашла время, нечего сказать.— В последней фразе сквозила горькая обида.

К шершавым от высохшего пота бокам кобылы прилипли бурьянные былки, сухой помет. Выглядела она неприлично худой и жидковатой, но глаза лучили горделивую радость, приправленную усталостью, а атласная верхняя губа ежилась улыбкой. Так, по крайней мере, казалось Трофиму. После того как поставленная в конюшню кобыла зафыркала, мотая торбой с зерном, Трофим прислонился к косяку и, неприязненно косясь на жеребенка, сухо спросил:

— Догулялась?

Не дождавшись ответа, заговорил снова:

— Хоть бы в Игнатова жеребца привела, а то черт его знает в кого... Ну, куда я с ним денусь?

В темноватой тишине конюшни хрустит зерно, в дверную щель точит золотистую россыпь солнечный кривой луч. Свет падает на левую щеку Трофима, рыжий ус его и щетина бороды отливают краснинoю, складки вокруг рта темнеют изогнутыми бороздами. Жеребенок на тонких пушистых ножках стоит, как игрушечный деревянный конек.

— Убить его? — Большой, пропитанный табачной зеленью палец Трофима кривится в сторону жеребенка.

Кобыла выворачивает кровянистое глазное яблоко, моргает и насмешливо косится на хозяина.

* * *

В горнице, где помещался командир эскадрона, в этот вечер происходил следующий разговор:

— Примечаю я, что бережется моя кобыла, рысью не перебежит, намётом — не моги, опышка ее душит. Доглядел, а она, оказывается, сжеребанная... Так уж береглась, так береглась... Жеребчик-то масти гнедованной... Вот...— рассказывает Трофим...

Эскадронный сжимает в кулаке медную кружку с чаем, сжимает так, как эфес палаша перед атакой, и сонными глазами глядит на лампу. Над желтеньким светлячком огня беснуются пушистые бабочки, в окно налетают, жгутся о стекло, на смену одним — другие.

— ...безразлично. Гнедой или вороной — все равно. Пристрелить. С жеребенком мы навродь цыганев будем.

— Что? Вот и я говорю, как цыгане. А ежели командующий, что тогда? Приедет осмотреть полк, а он будет перед фронтом солонцевать и хвостом этак... А? На всю Красную Армию стыд и позор. Я даже не понимаю, Трофим, как ты мог допустить? В разгар гражданской войны и вдруг подобное распутство... Это даже совестно. Коноводам строгий приказ: жеребцов соблюдать отдельно.

Утром Трофим вышел из хаты с винтовкой. Солнце еще не всходило. На траве розовела роса. Луг, истоптанный сапогами пехоты, изрытый окопами, напоминал заплаканное, измятое горем лицо девушки. Около полевой кухни возились кашевары. На крыльце сидел эскадронный в сопревшей от давнишнего пота исподней рубахе. Пальцы, привыкшие к бодрящему холодку револьверной рукоятки, неуклюже вспоминали забытое, родное — плели фасонистый половник для вареников. Трофим, проходя мимо, поинтересовался:

— Половничек плетете?

Эскадронный увязал ручку тоненькой хворостинкой, процедил сквозь зубы:

— А вот баба — хозяйка — просит... Сплети да сплети. Когда-то мастер был, а теперь не того... не удался.

— Нет, подходяще,— похвалил Трофим.

Эскадронный смел с колен обрезки хвороста, спросил:

— Идешь жеребенка ликвидировать?

Трофим молча махнул рукой и прошел в конюшню.

Эскадронный, склонив голову, ждал выстрела. Прошла минута, другая — выстрела не было. Трофим вывернулся из-за угла конюшни, как видно, чем-то смущенный.

— Ну что?

— Должно, боек спортился... Пистон не пробивает.

— А ну, дай винтовку.

Трофим нехотя подал. Двинув затвором, эскадронный прищурился.

— Да тут патрон нету!..

— Не могет быть!.. — с жаром воскликнул Трофим.

— Я тебе говорю, нет.

— Так я ж их кинул там... за конюшней...

Эскадронный положил рядом винтовку и долго вертел в руках новенький половник. Свежий хворост был медвяно пахуч и липок, в нос ширяло запахом цветущего краснотала, землей попахивало, трудом, позабытым в неуемном пожаре войны...

— Слушай!.. Черт с ним! Пущай при матке живет. Временно и так далее. Кончится война — на нем еще того... пахать. А командующий, на случай чего, войдет в его положение, потому что молокан и должен сосать... И командующий титьку сосал, и мы сосали, раз обычай такой, ну и шабаш! А боек у твово винта справный.

* * *

Как-то, через месяц, под станицей Усть-Хоперской эскадрон Трофима ввязался в бой с казачьей сотней. Перестрелка началась перед сумерками. Смеркалось, когда пошли в атаку. На полпути Трофим безнадежно отстал от своего взвода. Ни плеть, ни удила, до крови раздиравшие губы, не могли понудить кобылу идти намётом. Высоко задирая голову, хрипло ржала она и топталась на одном месте до тех пор, пока жеребенок, разлопушив хвост, не догнал ее. Трофим прыгнул с седла, пихнул в ножны шашку и с перекошенным злобой лицом рванул с плеча винтов-

ку. Правый фланг смешался с белыми. Возле яра из стороны в сторону, как под ветром, колыхалась куча людей. Рубились молча. Под копытами коней глухо гудела земля. Трофим на секунду глянул туда и схватил на мушку выточенную голову жеребенка. Рука ли дрогнула сгоряча, или виною промаха была еще какая-нибудь причина, но после выстрела жеребенок дурашливо взбрыкнул ногами, тоненько заржал и, выбрасывая из-под копыт седые комочки пыли, описал круг и стал поодаль. Обойму не простых патронов, а бронебойных — с красно-медными носами — выпустил Трофим в рыжего чертенка и, убедившись в том, что бронебойные пули (случайно попавшие из подсумка под руку) не причинили ни вреда, ни смерти потомку рыжей кобылы, вскочил на нее и, чудовищно ругаясь, трюпком поехал туда, где бородатые краснокожие староверы теснили эскадронного с тремя красноармейцами, прижимая их к яру.

В эту ночь эскадрон ночевал в степи, возле неглубокого буерака. Курили мало. Лошадей не расседлывали. Разъезд, вернувшийся от Дона, сообщил, что к переправе стянуты крупные силы противника.

Трофим, укутав босые ноги в полы резинового плаща, лежал, вспоминая сквозь дрему события минувшего дня. Плыли перед глазами: эскадронный, прыгающий в яр, щербатый старовер, крестящий шашкой политкома, в прах изрубленный москлявенький казачок, чье-то седло, облитое черной кровью, жеребенок...

Перед светом подошел к Трофиму эскадронный, в потемках присел рядом.

— Спишь, Трофим?

— Дремаю.

Эскадронный, поглядывая на меркнувшие звезды, сказал:

— Жеребца свово сничтожь! Наводит панику в бою... Гляну на него, и рука дрожит... рубить не могу. А все через то, что вид у него домашний, а на войне подобное не полагается... Сердце из камня обращается в мочалку... И между прочим, не стоптали поганца в атаке, промеж ног крутился... — Помолчав, он мечтательно улыбнулся, но Трофим не видел этой улыбки.— Понимаешь, Трофим, хвост у него, ну, то есть... положит на спину, взбрыкивает, а хвост, как у лисы... Замечательный хвост!..

Трофим промолчал. Накрыл шинелью голову и, подрагивая от росной сырости, уснул с диковинной быстротой.

* * *

Против старого монастыря Дон, притиснутый к горе, мчится с бесшабашной стремительностью. На повороте вода кучерявится завитушками, и зеленые гривастые волны с наскока поталкивают меловые глыбы, рассыпанные у воды вешним обвалом.

Если б казаки не заняли колена, где течение слабее, а Дон шире и миролюбивей, и не начали оттуда обстрела предгорья, эскадронный никогда не решился бы переправлять эскадрон вплавь против монастыря.

В полдень переправа началась. Небольшая комяга подняла одну пулеметную тачанку с прислугой и тройку лошадей. Левая пристяжная, не видавшая воды, испугалась, когда на середине Дона комяга круто повернула против течения и слегка накренилась набок. Под горой, где спешенный эскадрон расседлывал лошадей, отчетливо слышно было, как тревожно она храпела и стучала подковами по деревянному настилу комяги.

— Загубит лодку! — хмурясь, буркнул Трофим и не донес руку до потной спины кобылы: на комяге пристяжная дико всхрапнула, пятясь к дышлу тачанки, стала в дыбки.

— Стреляй!..— заревел эскадронный, комкая плеть.

Трофим увидел, как наводчик повис на шее пристяжной, сунул ей в ухо наган. Детской хлопушкой стукнул выстрел, коренник и правая пристяжная плотней прижались друг к дружке. Пулеметчики, опасаясь за комягу, придавили убитую лошадь к задку тачанки. Передние ноги ее медленно согнулись, голова повисла...

Минут через десять эскадронный заехал с косы и первый пустил своего буланого в воду, за ним следом с грохочущим плеском ввалился эскадрон — сто восемь полуголых всадников, столько же разномастных лошадей. Седла перевозили на трех каюках. Одним из них правил Трофим, поручив кобылу взводному Нечепуренко. С середины Дона видел Трофим, как передние лошади, забредая по колено, нехотя глотали воду. Всадники понукали их вполголоса. Через минуту в двадцати саженях от берега густо зачернели в воде лошадиные головы, послышалось многоголосое фырканье. Рядом с лошадьми, держась за гривы, подвязав к винтовкам одежду и подсумки, плыли красноармейцы.

Кинув в лодку весло, Трофим поднялся во весь рост и, жмурясь от солнца, жадно искал глазами в куче плывущих рыжую голову своей кобылы. Эскадрон похож был на ватагу диких гусей, рассыпанную по небу выстрелами охотников: впереди, высоко поднимая глянцевитую спину, плыл буланый эскадронного, у самого хвоста его белыми пятнышками серебрились уши коня, принадлежавшего когда-то политкому, сзади плыли темной кучей, а дальше всех, с каждой секундой отставая все больше и больше, виднелись чубатая голова взводного Нечепуренко и по левую руку от него острые уши Трофимовой кобылы. Напрягая зрение, Трофим увидел и жеребенка. Плыл он толчками, то высоко выбрасываясь из воды, то окунаясь так, что едва виднелись ноздри.

И вот тут-то ветер, плеснувший над Доном, донес до Трофима тонкое, как нитка паутины, призывное ржание: и-и-и-го-го-го!..

Крик над водой был звонок и отточен, как жало шашки. Полоснул он Трофима по сердцу, и чудно́е сделалось с человеком: пять лет войны сломал, сколько раз смерть по-девичьи засматривала ему в глаза, и хоть бы что, а тут побелел под красной щетиной бороды, побелел до пепельной синевы — и, ухватив весло, направил лодку против течения, туда, где в коловерти кружился обессилевший жеребенок, а саженях в десяти от него Нечепуренко силился и не мог повернуть матку, плывшую к коловерти с хриплым ржаньем. Друг Трофима, Стешка Ефремов, сидевший в лодке на куче седел, крикнул строго:

— Не дури! Правь к берегу! Видишь, вон они, казаки!..

— Убью! — выдохнул Трофим и потянул за ремень винтовку.

Жеребенка течением снесло далеко от места, где переправлялся эскадрон. Небольшая коловерть плавно кружила его, облизывая зелеными гребенчатыми волнами. Трофим судорожно махал веслом, лодка двигалась скачками. На правом берегу из яра выскочили казаки. Забарабанила басовитая дробь «максима». Чмокаясь в воду, шипели пули. Офицер в изорванной парусиновой рубахе что-то кричал, размахивая наганом.

Жеребенок ржал все реже, глуше и тоньше был короткий режущий крик. И крик этот до холодного ужаса был похож на крик ребенка. Нечепуренко, бросив кобылу, легко поплыл к левому берегу. Подрагивая, Трофим схватил

винтовку, выстрелил, целясь ниже головки, засосанной коловертью, рванул с ног сапоги и с глухим мычанием, вытягивая руки, плюхнулся в воду.

На правом берегу офицер в парусиновой рубахе гаркнул:

— Пре-кра-тить стрельбу!..

Через пять минут Трофим был возле жеребенка, левой рукой подхватил его под нахолодевший живот, захлебываясь, судорожно икая, двинулся к левому берегу... С правого берега не стукнул ни один выстрел.

Небо, лес, песок — все ярко-зеленое, призрачное... Последнее чудовищное усилие — и ноги Трофима скребут землю. Волоком вытянул на песок ослизлое тельце жеребенка, всхлипывая, блевал зеленой водой, шарил по песку руками... В лесу гудели голоса переплывших эскадронцев, где-то за косою дребезжали орудийные выстрелы. Рыжая кобыла стояла возле Трофима, отряхаясь и облизывая жеребенка. С обвислого хвоста ее падала, втыкаясь в песок, радужная струйка...

Качаясь, встал Трофим на ноги, прошел два шага по песку и, подпрыгнув, упал на бок. Словно горячий укол пронизал грудь; падая, услышал выстрел. Одинокий выстрел в спину — с правого берега. На правом берегу офицер в изорванной парусиновой рубахе равнодушно двинул затвором карабина, выбрасывая дымящуюся гильзу, а на песке, в двух шагах от жеребенка, корчился Трофим, и жесткие посиневшие губы, пять лет не целовавшие детей, улыбались и пенились кровью.

1926

ЧУЖАЯ КРОВЬ

В Филипповку, после заговенья, выпал первый снег. Ночью из-за Дона подул ветер, зашуршал в степи обыневшим краснобылом, лохматым сугробам заплел косы и догола вылизал кочковатые хребтины дорог.

Ночь спеленала станицу зеленоватой сумеречной тишиной. За дворами дремала степь, непаханая, забурьяневшая. В полночь в ярах глухо завыл волк, в станице откликнулись собаки, и дед Гаврила проснулся. Свесив с печки

ноги, держась за комель, долго кашлял, потом сплюнул и нащупал кисет.

Каждую ночь после первых кочетов просыпается дед, сидит, курит, кашляет, с хрипом отрывая от легких мокроту, а в промежутках между приступами удушья думки идут в голове привычной, хоженой стежкой. Об одном думает дед — о сыне, пропавшем в войну без вести.

Был один — первый и последний. На него работал не покладая рук. Время приспело провожать на фронт против красных,— две пары быков отвел на рынок, на выручку купил у калмыка коня строевого, не конь — буря степная, летучая. Достал из сундука седло и уздечку дедовскую с серебряным набором. На проводах сказал:

— Ну, Петро, справил я тебя, не стыдно и офицеру с такой справой идтить... Служи, как отец твой служил, войско казацкое и тихий Дон не страми! Деды и прадеды твои службу царям несли, должон и ты!..

Глядит дед в окно, обрызганное зелеными отсветами лунного света, к ветру,— какой по двору шарит, неположенного ищет,— прислушивается, вспоминает те дни, что назад не придут и не вернутся...

На проводах служивого гремели казаки под камышовой крышей Гаврилиного дома старинной казачьей песней:

А мы бьем, не портим боевой порядок.
Слу-ша-ем один да приказ.
И что нам прикажут отцы-командиры,
Мы туда идем — рубим, колем, бьем!..

За столом сидел Петро, хмельной, иссиня-бледный, последнюю рюмку, «стременную», выпил, устало зажмурив глаза, но на коня твердо сел. Шашку поправил и, с седла перегнувшись, горсть земли с родимого база взял. Где-то теперь лежит он и чья земля на чужбинке греет ему грудь?

Кашляет дед тягуче и сухо, мехи в груди на разные лады хрипят-вызванивают, а в промежутках, когда, откашлявшись, прислонится сгорбленной спиной к комелю, думки идут в голове знакомой, хоженой стежкой.

* * *

Проводил сына, а через месяц пришли красные. Вторглись в казачий исконный быт врагами, жизнь дедову,

обычную, вывернули наизнанку, как порожний карман. Был Петро по ту сторону фронта, возле Донца, усердием в боях заслуживал урядницкие погоны, а в станице дед Гаврила на москалей, на красных вынашивал, кохал, нянчил — как Петра, белоголового сынишку, когда-то — ненависть стариковскую глухую.

Назло им носил шаровары с лампасами, с красной казачьей волей, черными нитками простроченной вдоль суконных с напуском шаровар. Чекмень надевал с гвардейским оранжевым позументом, со следами ношенных когда-то вахмистерских погон. Вешал на грудь медали и кресты, полученные за то, что служил монарху верой и правдой; шел по воскресеньям в церковь, распахнув полы полушубка, чтоб все видали.

Председатель Совета станицы при встрече как-то сказал:

— Сыми, дед, висюльки! Теперь не полагается.

Порохом пыхнул дед:

— А ты мне их вешал, что сымать-то велишь?

— Кто вешал, давно, небось, в земле червей продовольствует.

— И пущай!.. А я вот не сыму! Рази с мертвого сдерешь?

— Сказанул тоже... Тебя же жалеючи, советую, по мне, хоть спи с ними, да ить собаки... собаки-то штаны тебе облатают! Они, сердешные, отвыкли от такого виду, не признáют свово...

Была обида горькая, как полынь в цвету. Ордена снял, но обида росла в душе, лопушилась, со злобой родниться начала.

Пропал сын — некому стало наживать. Рушились сараи, ломала скотина базы, гнили стропила раскрытого бурей катуха. В конюшне, в пустых станках, по-своему захозяйствовали мыши, под навесом ржавела косилка.

Лошадей брали перед уходом казаки, остатки добирали красные, а последнюю, лохмоногую и ушастую, брошенную красноармейцами в обмен, осенью за один огляд купили махновцы. Взамен оставили деду пару английских обмоток.

— Пущай уж наше переходит! — подмигивал махновский пулеметчик.— Богатей, дед, нашим добром!..

Прахом дымилось все нажитое десятками лет. Руки падали в работе; но весною,— когда холостеющая степь ложилась под ногами, покорная и истомная,— манила деда

земля, звала по ночам властным неслышным зовом. Не мог противиться, запрягал быков в плуг, ехал, полосовал степь сталью, осеменял ненасытную черноземную утробу ядреной пшеницей-гиркой.

Приходили казаки от моря и из-за моря, но никто из них не видал Петра. В разных полках с ним служили, в разных краях бывали,— мала ли Россия? — а однополчане-станичники Петра полком легли в бою со Жлобинским отрядом на Кубани где-то.

Со старухой о сыне почти не говорил Гаврила.

Ночами слышал, как в подушку точила она слезы, носом чмыкала.

— Ты чего, старая? — спросит кряхтя.

Помолчит та немного, откликнется:

— Должно, угар у нас... голова что-то прибаливает.

Не показывая виду, что догадывается, советовал:

— А ты бы рассольцу из-под огурцов. Сем-ка я слазю в погреб, достану?

— Спи уж. Пройдет и так!..

И снова тишина расплеталась в хате незримой кружевной паутиной. В оконце месяц нагло засматривал, на чужое горе, на материнскую тоску любуясь.

Но всё же ждали и надеялись, что придет сын. Овчины отдал Гаврила выделать, старухе говорит:

— Мы с тобой перебьемся и так, а Петро придет, что будет носить? Зима заходит, надо ему полушубок шить.

Сшили полушубок на Петров рост и положили в сундук. Сапоги расхожие — скотину убирать — ему сготовили. Мундир свой синего сукна берег дед, табаком пересыпал, чтобы моль не посекла, а зарезали ягнока — из овчинки папаху сшил сыну дед и повесил на гвоздь. Войдет с надворья, глянет, и кажется, будто выйдет сейчас Петро из горницы, улыбнется, спросит: «Ну как, батя, холодно на базу?»

Дня через два после этого перед сумерками пошел скотину убирать. Сена в ясли наметал, хотел воды из колодца почерпнуть — вспомнил, что забыл варежки в хате. Вернулся, отворил дверь и видит: старуха на коленях возле лавки стоит, папаху Петрову неношеную к груди прижала, качает, как дитя баюкает...

В глазах потемнело, зверем кинулся к ней, повалил на пол, прохрипел, пену глотая с губ:

— Брось, подлюка!.. Брось!.. Что ты делаешь?!

Вырвал из рук папаху, в сундук кинул и замок навесил.

Только стал примечать, что с той поры левый глаз у старухи стал дергаться и рот покривило.

Текли дни и недели, текла вода в Дону, под осень прозрачно-зеленая, всегда торопливая.

В этот день замерзли на Дону окраинцы. Через станицу пролетела припозднившаяся ватага диких гусей. Вечером прибежал к Гавриле соседский парень, на образа второпях перекрестился.

— Здоро́во дневали!

— Слава богу.

— Слыхал, дедушка? Прохор Лиховидов из Турции пришел. Он ить с вашим Петром в одном полку служил!..

Спешил Гаврила по проулку, задыхаясь от кашля и быстрой ходьбы. Прохора не застал дома: уехал на хутор к брату, обещал вернуться к завтрему.

Ночь не спал Гаврила. Томился на печке бессонницей.

Перед светом зажег жирник, сел подшивать валенки.

Утро — бледная немочь — точит с сизого восхода чахлый рассвет. Месяц зазоревал посреди неба, сил не хватило дошагать до тучки, на день прихорониться.

* * *

Перед завтраком глянул Гаврила в окно, сказал почему-то шепотом:

— Прохор идет!

Вошел он, на казака не похожий, чужой обличьем. Скрипели на ногах у него кованые английские ботинки, и мешковато сидело пальто чудно́го покроя, с чужого плеча, как видно.

— Здоро́во живешь, Гаврила Василич!..

— Слава богу, служивый!.. Проходи, садись.

Прохор снял шапку, поздоровался со старухой и сел на лавку, в передний угол.

— Ну, и погодка пришла, снегу надуло — не пройдешь!..

— Да, снега нынче рано упали... В старину в эту пору скотина на подножном корму ходила.

На минутку тягостно замолчали. Гаврила, с виду равнодушный и твердый, сказал:

— Постарел ты, парень, в чужих краях!

— Молодеть-то не с чего было, Гаврила Василич! — улыбнулся Прохор.

Заикнулась было старуха:

— Петра нашего...

— Замолчи-ка, баба!..— строго прикрикнул Гаврила.— Дай человеку опомниться с морозу, успеешь... узнать!..

Поворачиваясь к гостю, спросил:

— Ну, как, Прохор Игнатич, протекала ваша жизня?

— Хвалиться нечем. Дотянул до дому, как кобель с отбитым задом, и то — слава богу.

— Та-а-ак... Плохо́ у турка жилось, значится?

— Концы с концами насилу связывали.— Прохор побарабанил по столу пальцами.— Однако и ты, Гаврила Василич, дюже постарел, седина вон как обрызгала тебе голову... Как вы тут живете при Советской власти?

— Сына вот жду... стариков, нас докармливать...— криво улыбнулся Гаврила.

Прохор торопливо отвел глаза в сторону. Гаврила приметил это, спросил резко и прямо:

— Говори: где Петро?

— А вы разве не слыхали?

— По-разному слыхали,— отрубил Гаврила.

Прохор свил в пальцах грязную бахромку скатерти, заговорил не сразу.

— В январе, кажись... Ну да, в январе, стояли мы сотней возле Новороссийского города... Город такой у моря есть... Ну, обнакновенно стояли...

— Убит, что ли?..— нагибаясь, низким шепотом спросил Гаврила.

Прохор, не поднимая глаз, промолчал, словно и не слышал вопроса.

— Стояли, а красные прорывались к горам: к зеленым на соединенье. Назначает его, Петра вашего, командир сотни в разъезд... Командиром у нас был подъесаул Сенин... Вот тут и случись... понимаете...

Возле печки звонко стукнул упавший чугун, старуха, вытягивая руки, шла к кровати, крик распирал ей горло.

— Не вой!! — грозно рявкнул Гаврила и, облокотясь о стол, глядя на Прохора в упор, медленно и устало проговорил: — Ну, кончай!

— Срубили!..— бледнея, выкрикнул Прохор и встал, нащупывая на лавке шапку.— Срубили Петра... насмерть... Остановились они возле леса, коням передышку давали, он подпругу на седле отпустил, а красные из лесу...— Прохор, захлебываясь словами, дрожащими руками мял шапку.—

Петро черк за луку, а седло коню под пузо... Конь горячий... не сдержал, остался... Вот и все!..

— А ежели я не верю?..— раздельно сказал Гаврила.

Прохор, не оглядываясь, торопливо пошел к двери.

— Как хотите, Гаврила Василич, а я истинно... Я правду говорю... Гольную правду... Своими глазами видал...

— А ежели я не хочу этому верить?! — багровея, захрипел Гаврила. Глаза его налились кровью и слезами. Разодрав у ворота рубаху, он голой волосатой грудью шел на оробевшего Прохора, стонал, запрокидывая потную голову: — Одного сына убить?! Кормильца?! Петьку мово?! Брешешь, сукин сын!.. Слышишь ты?! Брешешь! Не верю!..

А ночью, накинув полушубок, вышел во двор, поскрипывая по снегу валенками, прошел на гумно и стал у скирда.

Из степи дул ветер, порошил снегом; темень, черная и строгая, громоздилась в голых вишневых кустах.

— Сынок! — позвал Гаврила вполголоса. Подождал немного и, не двигаясь, не поворачивая головы, снова позвал: — Петро!.. Сыночек!..

Потом лег плашмя на притоптанный возле скирда снег и тяжело закрыл глаза.

* * *

В станице поговаривали о продразверстке, о бандах, что шли с низовьев Дона. В исполкоме на станичных сходах шепотом сообщались новости, но дед Гаврила ни разу не ступнул на расшатанное исполкомское крыльцо, надобности не было, потому о многом не слышал, многое не знал. Диковинно показалось ему, когда в воскресенье после обедни заявился председатель, с ним трое в желтых куценьких дубленках, с винтовками.

Председатель поручкался с Гаврилой и сразу, как обухом по затылку:

— Ну, признавайся, дед: хлеб есть?

— А ты думал как, духом святым кормимся?

— Ты не язви, говори толком: где хлеб?

— В амбаре, само собой.

— Веди.

— Дозволь узнать, какое вы имеете касательство к моему хлебу?

Рослый, белокурый, по виду начальник, постукивая на морозе каблуками, сказал:

— Излишки забираем в пользу государства. Продразверстка. Слыхал, отец?

— А ежели я не дам? — прохрипел Гаврила, набухая злобой.

— Не дашь? Сами возьмем!..

Пошептались с председателем, полезли по закромам, в очищенную, смугло-золотую пшеницу накидали с сапог снежных ошлепков. Белокурый, закуривая, решил:

— Оставить на семена, на прокорм, остальное забрать.— Оценивающим хозяйским взглядом прикинул количество хлеба и повернулся к Гавриле: — Сколько десятин будешь сеять?

— Чертову лысину засею!.. — засипел Гаврила, кашляя и судорожно кривляясь.— Берите, проклятые! Грабьте!.. Все ваше!..

— Что ты, осатанел, что ли, остепенись, дед Гаврила!.. — упрашивал председатель, махая на Гаврилу варежкой.

— Давитесь чужим добром!.. Лопайте!..

Белокурый содрал с усины оттаявшую сосульку, искоса умным, насмешливым глазом кольнул Гаврилу, сказал со спокойной улыбкой:

— Ты, отец, не прыгай! Криком не поможешь. Что ты визжишь, аль на хвост тебе наступили?.. — и, хмуря брови, резко переломил голос: — Языком не трепи!.. Коли длинный он у тебя — привяжи к зубам!.. За агитацию... — Не договорив, хлопнул ладонью по желтой кобуре, перекосившей пояс, и уже мягче сказал: — Сегодня же свези на ссыппункт!

Не то чтобы испугался старик, а от голоса уверенного и четкого обмяк, понял, что в самом деле криком тут не пособишь. Махнул рукой и пошел к крыльцу. До половины двора не дошел — дрогнул от крика дико-хриплого:

— Где продотрядники?!

Повернулся Гаврила — за плетнем, вздыбив приплясывающую лошадь, кружится конный. Предчувствие чего-то необычайного дрожью подкатилось под колени. Не успел рта раскрыть, как конный, увидев стоявших возле амбара, круто осадил лошадь и, неуловимо поведя рукой, рванул с плеча винтовку.

Сочно треснул выстрел, и в тишине, вслед за выстрелом на короткое мгновение облапившей двор, четко сдво-

ил затвор, патронная гильза вылетела с коротким жужжаньем.

Оцепенение прошло: белокурый, влипая в притолоку, прыгающей рукой долго до жути тянул из кобуры револьвер, председатель, приседая по-заячьи, рванулся через двор к гумну, один из продотрядников упал на колено, выпуская из карабина обойму в черную папаху, качавшуюся за плетнем. Двор захлестнуло стукотнею выстрелов. Гаврила с трудом оторвал от снега словно прилипшие ноги и тяжело затрусил к крыльцу. Оглянувшись, увидал, как трое в дубленках недружно, врассыпную, застревая в сугробах, бежали к гумну, а в радушно распахнутые ворота хлынули конные.

Передний, в кубанке, на рыжем жеребце, горбатясь, приник к луке и закружил над головой шашку. Перед Гаврилой лебедиными крыльями мелькнули концы его белого башлыка, в лицо кинуло снегом, брызнувшим из-под лошадиных копыт.

Обессиленно прислонясь к резному крыльцу, Гаврила видел, как рыжий жеребец, подобравшись, взлетел через плетень и закружился на дыбках возле початого скирда ячменной соломы, а кубанец, свисая с седла, крест-накрест рубил ползавшего в корчах продотрядника...

На гумне обрывчатый, неясный шум, возня, чей-то протяжный, рыдающий крик. Через минуту гулко стукнул одинокий выстрел. Голуби, вспугнутые было стрельбой и вновь попадавшие на крышу амбара, сорвались в небо фиолетовой дробью. Конные на гумне спешились.

По станице неумолчно плескался малиновый трезвон. Паша — станичный дурачок — взобрался на колокольню и, по глупому своему разуму, хватил во все колокола, вместо набата вызванивая пасхальную плясовую.

К Гавриле подошел кубанец в наброшенном на плечи белом башлыке. Лицо его, горячее и потное, подергивалось, углы губ слюняво свисали.

— Овес есть?

Гаврила трудно двинулся от крыльца, подавленный виденным, не мог совладать с онемевшим языком.

— Оглох ты, черт?! Овес есть? — спрашиваю. Неси мешок!

Не успели подвести лошадей к корыту с кормом,— в ворота вскочил еще один.

— По коням!.. С горы пехота...

Кубанец с проклятием взнуздал облитого дымящимся

потом жеребца и долго тер снегом обшлаг своего правого рукава, густо измазанного чем-то багрово-красным.

Со двора их выехало пятеро, в тороках последнего угадал Гаврила желтую, в кровяных узорах дубленку белокурого.

* * *

До вечера за бугром в терновой балке погромыхивали выстрелы. В станице побитой собакой приниженно лежала тишина. Уже заголубели сумерки, когда Гаврила решился пойти на гумно. Вошел в настежь открытую калитку, увидел: на гуменном прясле, уронив голову, повис настигнутый пулей председатель. Руки его, свисая, словно тянулись за шапкой, валявшейся по ту сторону прясла.

Неподалеку от скирда на снегу, притрушенном объедьями и половой, лежали раздетые до белья продотрядники, все трое в ряд. И, глядя на них, уже не ощутил Гаврила в дрогнувшем от ужаса сердце той злобы, что гнездилась там с утра. Казалось небывальщиной, сном, чтобы на гумне, где постоянно разбойничали соседские козы, обдергивая прикладок соломы, теперь лежали изрубленные люди; и от них, от талых круговин примерзшей пузырчатой крови, уже струился-тек запах мертвечины...

Белокурый лежал, неестественно отвернув голову, и если б не голова, плотно прижатая к снегу, можно было бы подумать, что лежит он отдыхая — так беспечно были закинуты его ноги одна за одну.

Второй, щербатый и черноусый, выгнулся, вобрав голову в плечи, оскалясь непримиримо и злобно. Третий, зарывшись головою в солому, недвижно плыл по снегу: столько силы и напряжения было в мертвом размахе его рук.

Нагнулся Гаврила над белокурым, вглядываясь в почерневшее лицо, и дрогнул от жалости: лежал перед ним мальчишка лет девятнадцати, а не сердитый, с колючими глазами продкомиссар. Под желтеньким пушком усов возле губ стыл иней и скорбная складка, лишь поперек лба темнела морщинка, глубокая и строгая.

Бесцельно тронул рукою голую грудь и качнулся от неожиданности: сквозь леденящий холодок ладонь прощупала потухающее тепло...

Старуха ахнула и, крестясь, шарахнулась к печке, когда Гаврила, кряхтя и стоная, приволок на спине одеревеневшее, кровью почерненное тело.

Положил на лавку, обмыл холодной водой, до устали, до пота тер колючим шерстяным чулком ноги, руки, грудь. Прислонился ухом к гадливо-холодной груди и насилу услышал глухой, с долгими промежутками стук сердца.

* * *

Четвертые сутки лежал он в горнице шафранно-бледный, похожий на покойника. Пересекая лоб и щеку, багровел запекшийся кровью шрам, туго перевязанная грудь качала одеяло, с хрипом и клокотаньем вбирая воздух.

Каждый день Гаврила вставлял ему в рот свой потрескавшийся, зачерствелый палец, концом ножа осторожно разжимал стиснутые зубы, а старуха через камышинку лила подогретое молоко и навар из бараньих костей.

На четвертый день с утра на щеках белокурого зарозовел румянец, к полудню лицо его полыхало как куст боярышника, зажженный морозом, дрожь сотрясала все тело, и под рубахой проступил холодный и клейкий пот.

С этой поры стал он несвязно и тихо бредить, порывался вскакивать с кровати. Днем и ночью дежурили около него Гаврила поочередно со старухой.

В длинные зимние ночи, когда восточный ветер, налетая с Обдонья, мутил почерневшее небо и низко над станицей стлал холодные тучи, сиживал Гаврила возле раненого, уронив голову на руки, вслушиваясь, как бредил тот, незнакомым, окающим говорком несвязно о чем-то рассказывая; подолгу вглядывался в смуглый треугольник загара на груди, в голубые веки закрытых глаз, обведенных сизыми подковами. И когда с выцветших губ текли тягучие стоны, хриплая команда, безобразные ругательства и лицо искажалось гневом и болью,— слезы закипали у Гаврилы в груди. В такие минуты жалость приходила непрошеная.

Видел Гаврила, как с каждым днем, с каждой бессонной ночью бледнеет и сохнет возле кровати старуха, примечал и слезы на щеках ее, вспаханных морщинами, и понял, вернее — почуял сердцем, что невыплаканная любовь ее к Петру, покойному сыну, пожаром перекинулась вот на этого недвижного, смертью зацелованного чьего-то чужого сына...

Заезжал как-то командир проходившего через станицу полка. Лошадь у ворот оставил с ординарцем, сам взбежал на крыльцо, гремя шашкой и шпорами. В горнице шапку

снял и долго молча стоял у кровати. По лицу раненого бродили бледные тени, из губ, сожженных жаром, сочилась кровица. Качнул командир преждевременно поседевшей головой, затуманясь и глядя куда-то мимо Гаврилиных глаз, сказал:

— Побереги товарища, старик!

— Поберегем! — твердо ответил Гаврила.

Текли дни и недели. Минули святки. На шестнадцатый день в первый раз открыл белокурый глаза, и услышал Гаврила голос, паутинно-скрипучий:

— Это ты, старик?

— Я.

— Здорово меня обработали?

— Не приведи Христос!

Во взгляде, прозрачном и неуловимом, почудилась Гавриле усмешка, беззлобно-простая.

— А ребята?

— Энти того... закопали их на плацу.

Молча пошевелил по одеялу пальцами и перевел взгляд на некрашеные доски потолка.

— Звать-то тебя как будем? — спросил Гаврила.

Голубые с прожилками веки устало опустились.

— Николай.

— Ну, а мы Петром кликать будем... Сын у нас был... Петро... — пояснил Гаврила.

Подумав, хотел еще о чем-то спросить, но услышал ровное в нос дыхание и, удерживая руками равновесие, на цыпочках отошел от кровати.

* * *

Жизнь возвращалась к нему медленно, словно нехотя. На другой месяц с трудом поднимал от подушки голову, на спине появились пролежни.

С каждым днем с ужасом чувствовал Гаврила, что кровно привязывается к новому Петру, а образ первого, родного, меркнет, тускнеет, как отблеск заходящего солнца на слюдяном оконце хаты. Силился вернуть прежнюю тоску и боль, но прежнее уходило все дальше, и ощущал Гаврила от этого стыд и неловкость... Уходил на баз, возился там часами, но, вспомнив, что с Петром у кровати сидит неотступно старуха, испытывал ревнивое чувство. Шел в хату, молча топтался у изголовья кровати, негнущимися пальцами неловко поправлял наволочку подушки и,

перехватив сердитый взгляд старухи, смирно садился на скамью и притихал.

Старуха поила Петра сурчиным жиром, настоем целебных трав, снятых весною, в майском цвету. От этого ли или от того, что молодость брала верх над немощью, но раны зарубцевались, кровь красила пополневшие щеки, лишь правая рука, с изуродованной у предплечья костью, срасталась плохо: как видно, отработала свое.

Но все же на второй неделе поста в первый раз присел Петро на кровати сам, без посторонней помощи, и, удивленный собственной силой, долго и недоверчиво улыбался.

Ночью в кухне, покашливая на печке, шепотом:

— Ты спишь, старая?

— А что тебе?

— На ноги подымается наш... Ты завтра из сундука Петровы шаровары достань... Приготовь всю амуницию... Ему ить надеть нечего.

— Сама знаю! Я ить надысь достала.

— Ишь ты, проворная!.. Полушубок-то достала?

— Ну, а то телешом, что ли, парню ходить!

Гаврила повозился на печке, чуть было задремал, но вспомнил и, торжествуя, поднял голову:

— А папах? Папах, небось, забыла, старая гусыня?

— Отвяжись! Мимо сорок разов прошел и не спотыкнулся, вон на гвозде другой день висит!..

Гаврила досадливо кашлянул и примолк.

Расторопная весна уже турсучила Дон. Лед почернел, будто источенный червями, и ноздревато припух. Гора облысела. Снег ушел из степи в яры и балки. Обдонье млело, затопленное солнечным половодьем. Из степи ветер щедро кидал запахи воскресающей полынной горечи.

Был на исходе март.

* * *

— Сегодня встану, отец!

Несмотря на то, что все красноармейцы, переступавшие порог Гаврилиного дома, глянув на его волосы, опрятно выбеленные сединой, называли его отцом, на этот раз Гаврила почувствовал в тоне голоса теплую нотку. Казалось ли ему так, или действительно Петро вложил в это слово сыновью ласку, но Гаврила густо побагровел, закашлялся и, скрывая смущенную радость, пробормотал:

— Третий месяц лежишь... Пора уж, Петя!

Вышел Петро на крыльцо, ходульно переставляя ноги, и чуть было не задохнулся от избытка воздуха, втолкнутого в легкие ветром. Гаврила поддерживал его сзади, а старуха томашилась возле крыльца, утирая завеской привычные слезы.

Подвигаясь мимо нахохленной крыши амбара, спросил названый сын — Петро:

— Хлеб отвез тогда?

— Отвез...— нехотя буркнул Гаврила.

— Ну, и хорошо сделал, отец!

И опять от слова «отец» потеплело у Гаврилы в груди. Каждый день ползал Петро по двору, прихрамывая и опираясь на костыль. И отовсюду — с гумна, из-под навеса сарая, где бы ни был,— провожал Гаврила нового сына беспокойным, ищущим взглядом. Как бы не оступился да не упал!

Говорили между собой мало, но отношения увязались простые и любовные.

Как-то, дня два спустя после того, как в первый раз вышел Петро на двор, перед сном, умащиваясь на печке, спросил Гаврила:

— Откель же ты родом, сынок?

— С Урала.

— Из мужицкого сословия?

— Нет, из рабочих.

— Это как же? Рукомесло имел какое, навроде чеботарь али бондарь?

— Нет, отец, я на заводе работал. На чугунолитейном заводе. С мальства там.

— А хлеб забирать, это как же пристроился?

— Из армии послали.

— Ты, что же, у них, за командира был?

— Да, им был.

Было трудно спрашивать, но к этому вел:

— Значится, ты партейный?

— Коммунист,— ответил Петро, ясно улыбаясь.

И от улыбки этой бесхитростной уже не страшным показалось Гавриле чуждое слово.

Старуха, выждав время, спросила с живостью:

— А семья-то есть у тебя, Петюшка?

— Ни синь пороха!.. Один, как месяц в небе!

— Родители, должно, померли?

— Еще махоньким был, лет семи... Отца при пьянке убили, а мать где-то таскается...

— Эка сучка-то!.. Тебя, жалкенького, стало быть, кинула?

— Ушла с одним подрядчиком, а я при заводе вырос.

Гаврила свесил с печки ноги, долго молчал, потом заговорил, раздельно, медленно:

— Что ж, сынок, коли нету у тебя родни, оставайся при нас... Был у нас сын, по нем и тебя Петром кличем... Был, да быльем порос, а теперь вот двое с старухой кулюкаем... За это время сколько горя с тобой натерпелись; должно, от этого и полюбился ты нам. Хучь и чужая в тебе кровь, а душой за тебя болишь, как за ро́дного... Оставайся! Будем с тобой возле земли кормиться, она у нас на Дону плодовитая, щедрая... Справим тебя, женим... Я свое отжил, правь хозяйством ты. По мне, лишь бы уважал нашу старость да перед смертью в куске не отказывал... Не бросай нас, стариков, Петро!..

За печкой верещал сверчок, трескуче и нудно.

Под ветром тосковали ставни.

— А мы со старухой тебе уже невесту начали приглядывать!..—Гаврила с деланой веселостью подмигнул, но дрогнувшие губы покривились жалкой улыбкой.

Петро упорно глядел под ноги в выщербленный пол, левой рукой сухо выстукивал по лавке. Звук получился волнующий и редкий: тук-тик-так! тук-тик-так!.. тук-тик-так!..

Как видно, обдумывал ответ. И решившись, оборвал стук, тряхнул головой:

— Я, отец, останусь у вас с радостью, только работник из меня, сам видишь, плоховатый... Рука моя, кормилица, не страстается, стерва! Однако работать буду, насколько силов хватит. Лето поживу, а там видно будет.

— А там, может, навовсе останешься! — закончил Гаврила.

Прялка под ногою старухи радостно зажужжала, замурлыкала, наматывая на скало волокнистую шерсть. Баюкала ли, житье ли привольное сулила размеренным, усыпляющим стуком — не знаю.

* * *

Вслед за весной пришли дни, опаленные солнцем, курчавые и седые от жирной степной пыли. Надолго стало вёдро. Дон, буйный, как смолоду, бугрился вихрастыми валами. Полая вода поила крайние дворы станицы. Обдонье, зеленовато-белесое, насыщало ветер медвяным запахом

цветущих тополей, в лугу зарею розовело озеро, покрытое опавшим цветом диких яблонь. Ночами по-девичьи перемигивались зарницы, и ночи были короткие, как зарничный огневый всплеск. От длинного рабочего дня не успевали отдыхать быки. На выгоне пасся скот, вылинявший и ребристый.

Гаврила с Петром жили в степи неделю. Пахали, боронили, сеяли, ночевали под арбой, одеваясь одним тулупом, но никогда не говорил Гаврила о том, как крепко, незримой путой, привязал к себе его новый сын. Белокурый, веселый, работящий, заслонил собою образ покойного Петра. О нем вспоминал Гаврила все реже. За работой некогда стало вспоминать.

Дни шли воровской, неприметной поступью. Подошел покос.

Как-то с утра провозился Петро с косилкой. На диво Гавриле оправил в кузне ножи и сделал новые, взамен поломанных, крылья. Хлопотал над косилкой с утра, а смерклось — ушел в исполком: позвали на какое-то совещание. В это время старуха, ходившая по воду, принесла с почты письмо. Конверт был замусленный и старый, адрес на имя Гаврилы: с передачей товарищу Косых Николаю.

Томимый неясной тревогой, Гаврила долго вертел в руках конверт с расплывчатыми буквами, размашисто наброcанными чернильным карандашом.

Поднимал и глядел на свет, но конверт ревниво хранил чью-то тайну, и Гаврила невольно чувствовал нарастающую злобу к этому письму, изломавшему привычный покой.

На мгновение пришла мысль — изорвать его, но, подумав, решил отдать. Петра встретил у ворот новостью:

— Тебе, сынок, письмо откель-то.

— Мне? — удивился тот.

— Тебе. Иди читай!

Засветив в хате огонь, Гаврила острым, нащупывающим взглядом следил за обрадованным лицом Петра, читавшего письмо. Не вытерпел, спросил:

— Откель оно пришло?

— С Урала.

— От кого прописано? — полюбопытствовала старуха.

— От товарищей с завода.

Гаврила насторожился.

— Всчет чего же пишут?

У Петра, темнея, померкли глаза, ответил нехотя:

— Зовут на завод... Собираются его пускать. С семнадцатого года стоял.
— Как же?.. Стало быть, поедешь? — глухо спросил Гаврила.
— Не знаю...

* * *

Угловато осунулся и пожелтел Петро. По ночам слышал Гаврила, как вздыхал он и ворочался на кровати. Понял, после долгого раздумья, что не жить Петру в станице, не лохматить плугом степную целинную чернозёмь. Завод, вскормивший Петра, рано или поздно, а отымет его, и снова черной чередой заковыляют безрадостные, одичалые дни. По кирпичику разметал бы Гаврила ненавистный завод и место с землею сровнял бы, чтобы росла на нем крапива да лопушился бурьян!..

На третий день, на покосе, когда сошлись у стана напиться, заговорил Петро:

— Не могу, отец, оставаться! Поеду на завод... Тянет, душу мутит...
— Аль плохо живется?..
— Не то... Завод свой, когда шел Колчак, мы защищали полторы недели, девятерых колчаковцы повесили, как только заняли поселок, а теперь рабочие, какие пришли из армии, снова поднимают завод на ноги... Смертно голодают сами и семьи ихние, а работают... Как же я могу жить тут? А совесть?
— Чем пособишь-то? Рукой ить неправ.
— Чудно́ говоришь, отец! Там каждой рукой дорожат!
— Не держу. Поезжай!.. — бодрясь, ответил Гаврила. — Старуху обмани...скажи, что возвернешься... Поживу, мол, и вернусь... а то затоскует, пропадет... один ить ты у нас был...

И, цепляясь за последнюю надежду, шепотом, дыша порывисто и хрипло:

— А может, в самом деле возвернешься? А? Неужли не пожалеешь нашу старость, а?..

* * *

Скрипела арба, разнобоисто шагали быки, из-под колес, шурша, осыпался рыхлый мел. Дорога, излучисто скользившая вдоль Дона, возле часовенки заворачивала влево. От

поворота видны церкви окружной станицы и зеленое затейливое кружево садов.

Гаврила всю дорогу говорил без умолку. Пытался улыбаться.

— На этом месте года три назад девки в Дону потонули. Оттого и часовенка,— он указал кнутовищем на унылую верхушку часовни.— Тут мы с тобой и простимся. Дальше дороги нету, гора обвалилась. Отсель до станицы с версту, помаленечку дойдешь.

Петро поправил на ремне сумку с харчами и слез с арбы. С усилием задушив рыдание, Гаврила кинул на землю кнут и протянул трясущиеся руки.

— Прощай, родимый!.. Солнышко ясное смеркнется без тебя у нас...— И, кривя изуродованное болью, мокрое от слез лицо, резко, до крика повысил голос: — Подорожники не забыл, сынок?.. Старуха пекла тебе... Не забыл?.. Ну, прощай!.. Прощай, сынушка!..

Петро, прихрамывая, пошел, почти побежал по узенькой каемке дороги.

— Ворочайся!..— цепляясь за арбу, кричал Гаврила.

«Не вернется!..» — рыдало в груди невыплаканное слово.

В последний раз мелькнула за поворотом родная белокурая голова, в последний раз махнул Петро картузом, и на том месте, где ступила его нога, ветер дурашливо взвихрил и закружил белесую дымчатую пыль.

1926

КОЛОВЕРТЬ

I

На закате солнца вернулся из станицы Игнат.

Хворостяными воротами поломал островерхий сугроб, лошадь заиневшую ввел во двор и, не отпрягая, вбежал на крыльцо. Слышно было, как в сенцах скрипели обмерзшие половицы и по валенкам торопливо шуршал веник, обметая снег. Пахомыч, тесавший на печке топорище, смел с колен стружки, сказал младшему сыну Григорию:

— Ступай, кобыленку отпряги, сена я наметал в конюшне.

Дверь широко распахнув, влез Игнат, поздоровался и долго развязывал окоченевшими пальцами башлык. Морщась, сорвал с усов сосульки тающие и улыбнулся, радости не скрывая:

— Слухом пользовался — красноармейцы на округ идут...

Пахомыч ноги свесил с печки, спросил с любопытством сдержанным:

— Войной идут али так?

— Разно гутарют... А только беспокойствие в станице, томашится народ, в правлении миру видимо-невидимо.

— Не слыхал молвишки всчет земли?

— Гутарют, что большевики землю помещичью под гребло берут.

— Та-а-ак,— крякнул Пахомыч и соскочил с печки по-молодому.

Старуха у загнетки загремела ложками; щи в чашку наливая, сказала:

— Кличьте вечерять Гришатку.

На дворе смеркалось. Снежок перепадывал, и синевою хмурилась ночь. Пахомыч ложку отложил, бороду вытирая расшитым рушником, спросил:

— Про мельницу паровую разузнал? Когда пущать будут?

— Мельница работает в размол, можно везть.

— Ну, кончай вечерять и пойдем в амбар. Зерно надо перевеять, завтра, как удастся погода, уторком поеду смолоть. Дорога-то как, избитая?

— Шлях не спит, день и ночь едут, только разъезжаться трудновато. Сбочь дороги снегу глыбже пояса.

II

Григорий вышел за ворота проводить.

Пахомыч натянул рукавицу и угнездился в передке.

— На корову поглядывай, Гриша. Вымя налила она, что не видно[1] отелится...

— Ладно, батя, трогай!

Полозья саней с хрустом кромсают оттаявшую снежную корку. Вожжами волосяными Пахомыч шевелит золу, просыпанную на улице, объезжает. Попадается оголенная

[1] Что не видно — очень скоро, вот-вот.

земля — подреза липнут. Спины напружив, угинаясь, тянут лошади. Хоть и снасть справная и кони сытые, а Пахомыч нет-нет да и слезет с саней, кряхтя,—больно уж важно нагрузили мешков.

На гору выбрался, дал вздохнуть припотевшим лошадям и тронул рысцой шаговитой. Где приглянулось, оттепель сжевала снег, дорогу дурашливо изухабила. Теплынь на провесне. Тает. Полдень.

Лес начал огибать Пахомыч — навстречу тройка стелется. А снегу возле леса намело горы. В сугробах саженных дорожку прогрызли узенькую, разминуться никак невозможно.

— Эка, скажи на милость, оказия-то!.. Тпру!..

Приостановил Пахомыч лошадей, слез и шапку снял. Голову седую и потную ветер облизывает. Потому снял Пахомыч шапчонку свою убогую, что опознал в тройке встречной выезд полковника Черноярова Бориса Александровича. А у полковника землю он арендовал восемь лет подряд.

Тройка ближе. Бубенцы промеж себя разговорчики вполголоса ведут. Видно, как с пристяжных пена шмотьями брызжет и тяжело-тяжело колышется коренник. Привстал кучер, кнутом машет.

— Сворачивай, ворона седая!.. Что дорогу-то перенял?!

Поравнялся и лошадей осадил. Пахомыч, в полах полушубка путаясь, с головой непокрытой к санкам подбежал, поклон отвалил низенький.

Из саней, медвежьим мехом обитых, пучатся, не мигая, глаза стоячие. Губы рубчатые, выскобленные досиня, кривятся.

— Ты почему, хам, дог-огу не уступаешь? Большевистскую свободу почуял? Г-авнопг-авие?..

— Ваше высокоблагородие!.. Христа ради, объезжайте вы меня. Вы порожнем, а у меня вага... Я ежели свильну с дороги, так и не выберусь.

— Из-за тебя я буду лошадей кг-овных в снегу душить?.. Ах ты сволочь!.. Я тебя научу уважать офицегские погоны и уступать дог-огу!..

Ковер с ног стряхнул и перчатку лайковую кинул на сиденье.

— Аг-тем, дай сюда кнут!

Прыгнул полковник Чернояров с саней и, размахнувшись, хлобыстнул кнутом Пахомыча промеж глаз.

Охнул старик, покачнулся, лицо ладонями закрыл, а сквозь пальцы кровь.

— Вот тебе, негодяй, вот!..

Бороду Пахомычеву седую дергал, хрипел, брызгаясь слюной:

— Я из вас дух кг-асногваг-дейский выколочу!.. Помни, хам, полковника Чег-нояг-ова!.. Помни!..

Над талой покрышкой снега маячит голубая дуга. Бубенцы говорят невнятным шепотом... Сбочь дороги, постромки обрывая, бьются лошади Пахомыча, сани опрокинутые, с дышлом поломанным, лежат покорно и беспомощно, а он тройку глазами немигающими провожает. Будет провожать до тех пор, пока не скроется в балке задок саней, выгнутых шеей лебединой.

Век не забыть Пахомычу полковника Черноярова Бориса Александровича.

III

С ведрами от криницы идет Пахомычева старуха.

В вербах, стыдливо голых, беснуются грачи. За дворами, на бугре, промеж крыльев красношапого ветряка на ночь мостится солнце. В канавах вода кряхтит натужисто, плетни раскачивает. А небо — как вянущий вишневый цвет.

Ко двору подошла, у ворот подвода. Лошади почтовые с хвостами, куцо подкрученными, и у ног, захлюстанных и зябких, куры парной помет гребут. Из тарантаса, полы офицерской шинели подбирая, высокий, узенький — в папахе каракулевой — слез. Повернулся к старухе лицом иззябшим.

— Мишенька!.. Сыночек!.. Нежданный!..

Коромысло с ведрами кинула, шею охватила, губами иссохшими губы не достанет, на груди бьется и ясные пуговицы и серое сукно целует.

От материной кофтенки рваной навозом коровьим воняет. Отодвинулся слегка, улыбнулся, как варом в лицо матери плеснул:

— Неудобно на улице, мамаша... Вы укажите, куда лошадей поставить, и чемодан мой снесите в комнату... Заезжай во двор, слышишь, кучер?

IV

Хорунжий. Погоны новенькие. Пробритый рядок негустых волос. Свой: плоть от плоти, а стесняется Пахомыч, как чужого.

— Надолго приехал, сынок?

Сидит Михаил у окна, пальцами бледными, не рабочими, по столу постукивает:

— Я командирован из Новочеркасска со специальным поручением от войскового атамана. Пробуду, очевидно... Мамаша! Сотрите молоко со стола, что за неопрятность... Пробуду здесь месяца два.

Игнат с база пришел, следя грязными сапогами.

— Ну, здорово, братуха!.. С прибытием.

— Здравствуй.

Руку протянул Игнат, хотел обнять, но как-то разминулись, и пальцы сошлись в холодном и неприязненном пожатии.

Улыбаясь натянуто, сказал Игнат:

— Ты, братушка, ишо погоны носишь, а у нас давно их к черту посымали...

Брови нахмурил Михаил.

— Я еще казачьей чести не продал.

Помолчали нудно.

— Как живете? — спросил Михаил, нагибаясь снять сапоги.

Пахомыч с лавки метнулся к сыну.

— Дай я сыму, Миша, ты руки вымажешь.— На колени стал Пахомыч, сапог осторожно стягивая, ответил: — Живем — хлеб жуем. Наша живуха известная. Что у вас в городе новостишек?

— А вот организуем казаков отражать красногвардейщину.

Спросил Игнат, глаза в земляной пол воткнувши:

— А через какую надобность их отражать?

Улыбнулся Михаил криво:

— Ты не знаешь? Большевики казачества нас лишают и коммуну хотят сделать, чтобы все было мирское — и земля, и бабы...

— Побаски бабьи рассказываешь! Большевики нашу линию ведут.

— Какую вашу линию?

— Землю у панов отымают и народу дают, вон она куда кривится, линия-то...

— Ты что же, Игнат, за большевиков стоишь?

— А ты за кого?

Промолчал Михаил. Сидел, к окну заплаканному повернувшись, и, улыбаясь, чертил на стекле бледные узоры.

V

За буераком, за верхушками молодых дубков, курган могильный над Гетманским шляхом раскорячился.

На кургане обглоданная столетиями, ноздреватая каменная баба, а через голову ее, прозеленью обросшую, солнце по утрам переваливает, вверх карабкается и сквозь мглистое покрывало пыли заботливо, словно сука щенят, лижет степь, сады, черепичные крыши домов липкими, горячими лучами.

Зарею заехал от шляха с плугом Пахомыч. Ногами, от старости вихляющими, вымерял четыре десятины, щелкнул на муругих быков кнутом и начал чернозем плугом лохматить.

Давит на поручни Гришка, чуть не в колено землю выворачивает, а Пахомыч по борозде глянцевитой ковыляет, кнутом помахивает да на сына любуется: даром что парню девятнадцатый год, а в работе любого казака за пояс заткнет.

Загона три прошли и остановились. Солнце всходит. С кургана баба каменная, в землю вросшая, смотрит на пахарей глазами незрячими, а сама алеет от солнечных лучей, будто полымем спеленатая. По шляху ветер пыльцу мучнистую затесал столбом колыхающимся. Пригляделся Гришка — конный скачет.

— Батя, никак Михайло наш вéрхи бежит?

— Кубыть, он...

Подскакал Михаил, бросил у стана взмыленную лошадь, к пахарям бежит, на пахоте спотыкается. Поравнялся — дух не переведет. Дышит, как лошадь запаленная.

— Чью вы землю пашете?!

— Нашевскую.

— Да ведь это земля полковника Черноярова?

Пахомыч высморкался и, подолом рубахи холщовой вытирая нос, сказал веско и медленно:

— Раньше была ихняя, а теперь, сынок, нашевская, народная...

Белея, крикнул Михаил:

— Батя! Знаю я, чье это дело!.. Гришка с Игнатом до худого тебя доведут!.. Ты ответишь за захват чужой собственности.

Пахомыч голову угнул норовисто:

— Наша теперя земля!.. Нету таких законов, чтоб иметь больше тыщи десятин... Шабаш! Равноправенство...

— Ты не имеешь права пахать чужую землю!..

— И ему права не дадены степью владать. Мы на солончаках сеем, а он позанял чернозем, и земля три года холостеет. Таковские есть права?..

— Брось пахать, отец, иначе я прикажу атаману арестовать тебя!..

Пахомыч повернулся круто, закричал, багровея и судорожно дергая головой:

— На свои кровные выучил... воспитал!.. Подлец ты, сучий сын!..

Аж зубами скрипнул позеленевший Михаил:

— Я тебя, старая...— шагнул к отцу, кулаки сжимая, но увидал, как Гришка, ухватив железную занозу, бежит через пахоту прыжками, и, голову вбирая в плечи, не оглядываясь, пошел на хутор.

VI

У Пахомыча хата саманная. Частокол вокруг палисадника ребрами лошадиного скелета топорщится.

С поля приехал Григорий с отцом. Игнат баз заплетал хворостом, подошел, и от рук его пахуче несло пряным запахом листьев лежалых.

— Нас, Григорий, в правление требуют. На майдане сход хуторной.

— Зачем?

— Мобилизация, говорят... Красногвардейцы заняли хутор Калинов.

За гуменным пряслом меркла, дотлевала вечерняя заря. На гумне в ворохе рыжей половы остался позабытый солнечный луч, ветер с восхода ворохнул полову, и луч погас.

Гришка коня почистил, зерна задал. На крыльце кособоком вдовый Игнат с сынишкой шестилетним своим возился. Глянул мимоходом Гришка в глаза братнины, от смеха сузившиеся, шепнул:

— Ночью надо уезжать в Калинов, а то тут замобилизуют!..

Матери, выгонявшей из сенцев телка, сказал:

— Белье достань нам с Игнатом, маманя, сухарей всыпь...

— Куда вас лихоман понесет?..

— На кудыкино поле.

До поздней ночи на хуторском майдане гремел гул голосов. Пахомыч пришел оттуда затемно. У дверей амбара, где спал Гришка, остановился. Постоял и присел на каменный порожек обессиленно. Тошнотой нудной наливалось тело, сердце трепыхалось скупыми ударами, а в ушах плескался колкий и тягучий звон. Сидел, поплевывая в блеклое отражение месяца, торчавшее в лужице примерзшей, и больно чувствовал, что налаженная, обычная жизнь уходит, не оглянувшись, и едва ли вернется.

Где-то у огородов около Дона надсадно брехали собаки, в лугу размеренно и четко бил перепел. Ночь раскрылатилась над степью и молочной мутью закутала дворы. Закряхтел Пахомыч, дверью скрипнул.

— Ты спишь, Гриша?

Из амбара пахнуло тишиной и слежавшимся хлебом. Внутрь шагнул, нащупал шубу овчинную.

— Гриша, спишь, что ли?

— Нет.

Старик на край шубы присел, услыхал Гришка, как руки отцовы дрожью выплясывают мелкой и безустальной. Сказал Пахомыч глухо:

— Поеду и я с вами... Служить... в большевики...

— Что ты, батя?.. А дома как же? Да и старый ты...

— Ну что ж как старый? Буду при обозе состоять, а нет — так и в седле могу... А дома нехай Михайло правит... Чужие мы ему, и земля чужая... Нехай живет, бог ему судья, а мы пойдем землю-кормилицу отвоевывать!

Разноголосо прогорланили первые петухи. Над Доном за изломистым частоколом леса заря заполыхала. Несмело и осторожно поползли тающие тени.

Вывел Пахомыч трех лошадей, напоил, потники заботливо разгладил, оседлал. Вместе со старухой Пахомыча всхлипнули гуменные воротца, лошадиные копыта сочно зацокали по солончаку.

— Надо летником ехать, батя, а то на шляху могут перевстреть! — вполголоса сказал Игнат.

Небо поблекло. Росой медвяной и знобкой вспотела трава. Из-за Дона, с песков лимонных, сыпучих, утро шагало.

VII

На защитном кителе полковника Черноярова звездочки чернильным карандашом скромненько вкраплены. Щеки мясистые в синих жилках. В стены паутинистые хуторского майдана баритон дворянски-картавый тычется. Пальцы розовато-пухлые, холеные, жестикулируют сдержанно и вполне прилично.

А кругом потной круговиной сгрудились, жарко дышат махорочным перегаром и хлебом пшеничным окисшим. Папахи красноверхие, бороды цветастые. Рты, распахнутые, ловят жадно, а баритон, картавящий, гаденький, из губ, дурной болезнью обглоданных:

— Дог-огие станичники!.. Вы исстаг-и были опогой цаг-я-батюшки и Г-одины. Тепегь, в эту великую смутную годину, на вас смотг-ит вся Г-оссия... Спасайте ее, погуганную большевиками!.. Спасайте свое имущество, своих жен и дочег-ей... Пг-имег-ом выполнения гг-ажданского долга может послужить ваш хутог-янин хог-унжий Михаил Кг-амсков: он пег-вый сообщил нам пг-о то, что отец его и два бг-ата ушли к большевикам. И он пег-вый — как истинный сын тихого Дона — становится на его защиту!..

ПОСТАНОВИЛИ

Казаков нашего хутора Крамскова Петра Пахомыча и сынов его Игната и Григория Крамсковых, как перешедших на сторону врагов Тихого Дона, лишить казачьего звания, а также всех земельных паев и наделов, и по поимке предать военно-полевому суду Вёшенского юрта.

VIII

Около прошлогоднего стога сена отряд остановился кормить лошадей. У хутора за гуменным пряслом стучал пулемет.

Комиссар, раненный в щеку навылет, на жеребце, белесом от пота, подскакал к тачанке, крикнул рвущимся и гундосым голосом:

— Гиблое дело!.. Видать, нашлепают нам!..

Жеребца промеж ушей вытянул плетюганом и, харкая и давясь черными шмотьями крови, засипел командиру отряда на ухо:

— Не пробьемся к Дону — могем пропасть. Посекут нас казаки, мешанину сработают... Скликай в атаку идтить!..

Командир, бывший машинист чугунолитейного завода, такой же медлительный, как первые взмахи маховика, голову бритую приподнял, трубки изо рта не вынимая:

— По ко́ням!..

Отъехал комиссар сажени три, спросил, оборачиваясь:

— Как думаешь, ликвидируют нас?..— и поскакал, не дожидаясь ответа.

Из-под лошадиных копыт пули схватывали мучнистую пыльцу, шипели, буравя сено; одна оторвала у тачанки смолянистую щепу и на лету приласкалась к пулеметчику. Выронил тот из рук портянку, в дегте измазанную, присел, по-птичьи подогнувши голову, нахохлился, да так и помер — одна нога в сапоге, другая разутая. С железнодорожного полотна ветер волоком притащил надтреснутый гудок паровоза. С платформы в степь, к скирду, к куче людей, затомашившихся, повернулось курносое раззявленное жерло, плюнуло, и, лязгая звеньями, снова тронулся бронепоезд «Корнилов» № 8, а плевок угодил правее скирда. Со скрежетом вывернул вязанку дегтярного дыма и спутанные арбузные плети от прошлогоднего урожая.

И долго еще под тяжестью непомерной плакали ржавые рельсы, шпалы кряхтели, позванивая, а возле скирда в степи Пахомычева кобылица жеребая, с ногами, шрапнелью перебитыми, долго пыталась встать: с хрипом голову вскидывала, на ногах подковы полустертые блестели. Песчаник жадно пил розоватую пену и кровь.

Болью колючей черствело сердце, шептал Пахомыч:

— Матка племенная... Эх, не брал бы, кабы знатье!..

— Дуришь, батя!..— на скаку прокричал Игнат.— Беги на бричку садись — видишь, в атаку лупим!..

Вслед ему глянул старик равнодушно.

Пулеметный треск, будто холстинное полотнище в клочья шматуют. На патронных ящиках лежал Пахомыч, слюну горько-приторную сплевывал. А над землей, разомлевшей от дождей весенних, от солнца, от ветров степных, пахнущих чабрецом и полынью, маревом дымчатым, струистым плыл сладкий запах земляной ржавчины, щекотный душок трав прошлогодних, на корню подопревших.

Подрагивала выщербленная голубая каемка леса над горизонтом, и сверху сквозь золотистое полотнище пыли, разостланное над степью, жаворонок вторил пулеметам бисерной дробью. Григорий за патронами подскакал.

— Не горюй, батя. Кобыла — дело наживное!..

Губы Гришкины бурые порепались от жары, веки от ночной бессонницы набухли.

В обнимку взял два ящика и взвихрился, потный и улыбающийся.

К вечеру подошли к Дону. Из лощины до сумерек садила батарея, по бугру маячили казачьи разъезды. Ночью желтый настырный глаз прожектора шнырял по зарослям терна, нащупывал коновязи, палатки, людей. Минуту цепко излапывал их, поливая светом мертвенным, и гас.

С рассветом — с бугра густо, цепь за цепью, как волны. Из терна вихрастого стрельба пачками с прицелом, с выдержкой. В полдень командир отряда о подошву сапога излатанного выбил трубку, взглядом равнодушно-тяжелым обвел всех:

— Неустойка выходит, товарищи!.. Плывите через реку, в десяти верстах хутор Громов,— закончил устало.— Там — наши...

Коня расседлывая, крикнул Гришка отцу:

— Чего ж ты?!

— Глупство!..— строго сказал Пахомыч, а у самого челюсть нижняя запрыгала.— Плыви, Гриша!.. Коня разнуздай... А я того... стар уже...

— Прощай, батя!..

— С богом, сынок!..

— Ну, иди, лысый! Да ну же, черт, спужался!..

По пояс, по грудь, а вот уж одна голова Гришкина с бровями насупленными да сторожкие уши коня над сизой водой.

Загнал Пахомыч обойму сплющенным пальцем, на мушку ловил перебегавшие фигурки людей, потом выкинул последнюю дымную гильзу и руки волосатые поднял:

— Пропадем, Игнат!..

В упор в лошадиную морду выстрелил Игнат, сел, широко расставив ноги, сплюнул на сырую, волнами нацелованную гальку и ворот рубахи защитной разорвал до пояса.

IX

За завтраком Михаил усики белобрысые нафиксатуаренные самодовольно накручивал.

— Теперь, мамаша, меня произвели в сотники за то, что

большевизм в корне пресекаю. Со мною очень не разбалуешься, чуть что — и к стенке!

Мать вздохнула:

— А как же, Миша, наши?.. На случай, может, придут они...

— Я, мамаша, как офицер и верный сын тихого Дона, не должен ни с какими родственными связями считаться. Хоть отец, хоть брат родной — все равно передам суду...

— Сыночек!.. Мишенька!.. А я-то как же?.. Всех вас одной грудью кормила, всех одинаково жалко!..

— Без всяких жалостей!..— Глазами повел строго на сынишку Игнатова: — А этого щенка возьмите от стола, а то я ему, коммунячьему выродку, голову отверну!.. Ишь, смотрит каким волчонком... Вырастет, гаденыш, тоже большевиком будет, как отец!..

X

На огороде возле Дона полой водой и набухающими почками тополей пахнет. Волны гребенчатые укачивают диких казарок, плетни огорода лижут, обсасывают.

Сажала картофель Пахомычева старуха, двигалась промеж лунок натужисто. Нагнется, и кровь полыхнет в голову, закружит ее тошно. Постоит и сядет. Молча глядит на черные жилы, спутавшиеся на руках узлом замысловатым. Губами ввалившимися шамшит беззвучно.

За плетнем Игнатов сынишка в песке играет.

— Бабуня!

— Аюшки, внучек?

— Поглянь-ка, бабуня, чего вода принесла.

— Чего же она принесла, родимый?

Встала старая, лопату не спеша воткнула, дверцами скрипнула. На отмели — ногами к земле — лошадь дохлая лоснится от воды, наискось живот лопнул, а ветерком вонь падальную наносит.

Подошла.

Шею лошадиную мертвые руки человека обняли неотрывно, на левой повод уздечки замотан накрепко, назад голова запрокинута, и волосы на глаза свисли. Глядела, не моргая, как губы, рыбой изъеденные, смеялись, ощеряя мертвый оскал зубов, и упала...

Космами седыми мотая, на четвереньках в воду сползла, голову черную охватила, мычала:

— Гри-ша!.. Сы-но-о-ок!..

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 186

За самоотверженную и неустанную работу по искоренению большевизма в пределах Верхне-Донского округа сотник Крамсков Михаил производится в подъесаулы и назначается комендантом при Н-ском военно-полевом суде.

Командующий Северным фронтом:
Генерал-майор *М. Иванов*
Адъютант (подпись неразборчива).

XI

Дорога обугленная. Конвойные верхами и их двое. Подошвы в ранах гнойных. В одном белье, покоробленном от крови. По хуторам, по улицам, унизанным людьми, под перекрестными побоями. На другие сутки вечером — хутор родной. Дон и синеющая грядуха меловых гор, словно скученная отара овец. Нагнулся Пахомыч и клок зеленой пшеницы выдернул, губами задвигал трудно:

— Угадываешь, Игнат?.. Наша земля... с Гришей пахали...

Сзади свист плети витой.

— Без разгово-ров!..

Молча, головы угнув, по хутору. Ноги свинцовеют. Мимо частокола, мимо хаты саманной. Глянул Пахомыч на двор, ощетинившийся бурьяном махровитым, и грудь потер там, где колом, бóльным и неловким, растопырилось сердце.

— Батя! Вон мать на гумне...

— Не видит!..

Сзади:

— Молчи, сволочуга!..

Площадь, поросшая пышатками кучерявыми. Правление. Сходка у крыльца.

— Здорово, Пахомыч!.. Никак, землю отвоевывать ходил?

— Он отвоевал уж на кладбище сажень.

— Наука будет старому кобелю!

Палец с ногтем выпуклым, как броня черепахи, Пахомыч поднял, выдавил, судорожно переводя дух:

— Н-но, растаку вашу!.. Хучь погибнем мы, хучь и добро прахом пойдет, а вам... памятку вложат. Не ваша правда!

Боком подошел к Пахомычу сосед Анисим Макеев, развернулся и молчком, зубы ощерив из рыжей бороды, ударил Пахомыча в голову.

— Бей их!!! — крик сзади.

С звериным сопением сомкнулась немая человеческая волна, папахами красноверхими перекипала, сгрудилась в бешеной возне. Под дробный топот вязко и сочно стряли удары... Но с крыльца правления коршуном сорвался Микишара, клином разбороздил колыхавшуюся толпу. Вырвался в рубахе изорванной, белый, с перекошенным ртом, орал:

— Братцы!.. Фронтовики!.. Не допущай к убийству!..— Шашку выдернул из ножен, над головой веером развернул сверкающую сталь.— На фронт их нету, так-перетак... А тут убивать могут?!

— Бей Микишару!.. Большункам продался!..

Стеной плотной стали Микишара и восемь фронтовиков, в отпуск пришедших, от толпы отгородили Пахомыча и Игната.

Постояли старики, погомонили и кучками пошли с площади. Смеркалось...

* * *

— Хотелось бы ваше г-ешающее слово услышать, подъесаул. Г-азумеется, мы обязаны их г-асстг-елять, но как-никак, а это ваши отец и бг-ат... Может быть, вы возьмете на себя тгут ходатайствовать за них пег-ед войсковым наказным атаманом?..

— Я, ваше высокоблагородие, верой и правдой служил и буду служить царю и Всевеликому войску Донскому...

С жестом трагическим:

— У вас, подъесаул, благог-одная душа и мужественное сег-дце. Дайте я вас по г-усскому обычаю г-асцелую за вашу самоотвег-женность в деле служения пг-естолу и г-одному наг-оду!..

Троекратный чмок и пауза.

— Как вы полагаете, дог-огой подъесаул, не вызовем ли мы г-асстг-елом возмущения сг-еди беднейших слоев казачества?

Долго молчал подъесаул Крамсков Михаил, потом, головы не поднимая, сказал глухо:

— Есть надежные ребята в конвойной команде... С ними можно отправить в Новочеркасскую тюрьму... Не прого-

ворятся ребята... А арестованные иногда пытаются бежать...

— Я вас понимаю, подъесаул!.. Можете г-ассчитывать на чин есаула. Дайте пожать вашу г-уку!..

XII

Сарай для военнопленных, как паучье гнездо паутиной, опутан колючей проволокой. По ту сторону Игнат и Пахомыч, с лицами чугунными, опухшими; с улицы сынишка Игнатов в картузе отцовском и старуха Пахомычева руками окаменевшими к проволоке тоскливо пристыла; моргает веками кровяными, рот кривит, а слез нет — все выплакала.

Пахомыч тяжело ворочает разбитым языком:

— Пшеницу нехай Лукич скосит, заплатишь ему, отдашь телушку-летошницу.

Губами пожевал, сухо закашлялся:

— По нас же не горюй, старуха!.. Пожили... Все там будем. Посля панихидку отслужи. Поминать будешь, не пиши: «красногвардейца Петра», а прямо — «воинов убиенных Петра, Игната, Григория»... А то поп не примет... Ну, затем прощай, старуха!.. Живи... Внука береги. Прости, коль обидел когда...

Сынишку Игнат на руки взял; часовой как будто не видит, отвернулся. Пальцами прыгающими из камыша мельницу мастерит сыну Игнат.

— Папаня, а чего у тебя кровь на голове?

— Это я ушибся, сынок.

— А начто тебе вон энтот дядя ружьем вдарил, как ты из сарая выходил?

— Чудак ты какой!.. Он нарочно вдарил, шутейно...

Молчат. Камышовые былки под ногтями у Игната перезванивают.

— Пойдем домой, папаня? Ты мне мельницу дома сделаешь.

— Ты с бабуней иди, сынушка...— Губы у Игната жалко дрогнули, покривились.— А я потом приду...

Ходит Игнат по двору, будто волк на привязи, ногу, прикладом перебитую, волочит и тельце маленькое, щуплое к груди жмет, жмет, жмет.

— Папанька, начто у тебе глаза мокрые?

Молчит Игнат.

Потухли сумерки. С луга, с болот уремистых, из за-

рослей ольхи и мочажинника туман на сады свалился росой — проседью серебряной. Траву притолок к земле, захолодевшей и влажной.

Из сарая вышли кучкой. Офицер с погонами подъесаула, в папахе каракулевой, высокий, узенький, сказал тихо, вполголоса, самогонным перегаром дыша:

— Далеко не водить!.. За хутор, в хворост!..

В тишине настороженной шаги гулкие и лязг винтовочных затворов.

Ночь свалилась беззвездная, волчья. За Доном померкла лиловая степь. На бугре — за буйными всходами пшеницы, в яру, промытом вешней водой, в буреломе, в запахе пьяном листьев лежалых — ночью щенилась волчица: стонала, как женщина в родах, грызла под собой песок, кровью пропитанный, и, облизывая первого мокрого шершавого волчонка, услышала неподалеку — из лощины, из зарослей хвороста — два сиповатых винтовочных выстрела и человеческий крик.

Прислушалась настороженно и в ответ короткому стонущему крику завыла волчица хрипло и надрывно.

1925

СЕМЕЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК

За окраиной станицы промеж немощно зеленой щетины хвороста стрянет солнце. Иду от станицы к Дону, к переправе. Влажный песок под ногами пахнет гнилью, как перепрелое, набухшее водой дерево. Дорога путаной заячьей стежкой скользит по хворосту. Натуживаясь и багровея, солнце плюхнулось за станичное кладбище, и следом за мною по хворосту голубизной заклубились сумерки. Паром привязан к причалу, лиловая вода квохчет под исподом; приплясывая и кособочась, стонут в уключинах весла.

Паромщик черпалом скребет по замшевшему днищу, выплескивает воду. Приподымая голову, глянул на меня косо прорезанными желтоватыми глазами, буркнул нехотя:

— На тот бок правишься? Зараз поедем, отвязывай причал!

— Угребем мы двое?

— Надо бы угресть. Ночь спущается, а народ то ли подойдет, то ли нет.

Подсучивая шаровары, снова глянул на меня, спросил:

— Гляжу я — не свойский ты человек, не из наших краев... Откель бог несет?

— Иду домой из армии.

Паромщик скинул фуражку, кивком головы отбросил назад волосы, похожие на витое кавказское серебро с чернью, подмигивая мне, ощерил съеденные зубы:

— Как же идешь — по отпуску аль потаенно?

— Демобилизованный. Год мой спустили.

— Что ж, дело спокойное...

Сели за весла. Дон, играючи, поволок нас к затопленной молодой поросли прибрежного леса. О шершавое днище парома сухо чешется вода. Босые, исполосованные синими жилами ноги паромщика пухнут связками мускулов, посинелые ступни липнут, упираясь в скользкую перекладину. Руки у него длинные, костистые, пальцы в узловатых суставах. Он — высокий, узкоплечий, гребет нескладно, сгорбатившись, но весло услужливо ложится на гребенчатую спину волны и глубоко буровит воду.

Я слышу его ровное, без перебоев, дыханье; от вязаной шерстяной рубахи пахнет едким потом, табаком и пресным запахом воды. Бросил весло, повернулся ко мне лицом.

— Запохаживается, что затрет нас в лесу! Дурна шутка, а делать нечего, парнище!

На середине течение напористей. Паром рванулся, норовисто кинул задом, кособочась потянулся к лесу. Через полчаса прибило нас к затопленным вербам. Весла обломались. В уключине обиженно суетился расщепленный обломок. В пробоину, хлюпая, сочилась вода. Ночевать перебрались мы на дерево. Паромщик, окарачив ветку ногами, сидел рядом со мной, попыхивал глиняной трубкой, говорил, прислушиваясь к пересвисту гусиных крыльев, резавших над головами вязкую темь:

— Идешь ты к дому, к семье... Мать, небось, ждет: сынок-кормилец вернется, старость ее пригреет, а ты, должно, близко к сердцу не принимаешь того, что она, мать твоя, белым днем чахнет по тебе, а ночьми слезами материнскими исходит... Все вы, сынки, таковские... Пока не нажил своего приплоду, до тех пор и не лежит у вас душа к родительским страданьям. А сколько их кажному приходится переносить?

Иная баба порет рыбу и раздавит желчь: уху-то хлебаешь, а в ней горечь неподобная. Так вот и я: живу, только

хлебать-то припадает самую горечь... Иной раз терпишь-терпишь, да и скажешь: «Жизня, жизня, когда ты похужеешь?..»

Ты человек не свойский, посторонний,— вот ты и обсуди умом: в какую петлю мне голову просовывать?

Есть у меня дочь Наташка, нонешний год идет ей семнадцатая весна. Вот она и говорит:

— Гребостно мне с вами, батя, за одним столом исть. Как погляжу я на ваши руки, так сразу вспомню, что этими руками вы братов побили; и с души рвать меня тянет...

А этого она, сучка, не понимает, через кого все так поделалось? Да все через них же, через детей!

Женился я молодым; баба мне попалась плодющая; восьмерых голопузых нажеребила, а на девятом скопытилась. Родить-то родила, только на пятый день в домовину убралась от горячки... Остался я один, будто кулик на болоте, а детишек ни одного бог не убрал, как ни упрашивал... Самый старший Иван был... На меня похожий, чернявый собой и с лица хорош... Красивый был казак и на работу совестливый. Другой был у меня сынок четырьмя годами моложе Ивана. Энтот в матерю зародился: ростом низенький, тушистый, волосы русявые, ажник белесые, а глаза карие, и был он у меня самый коханый, самый желанный. Данилой звали его... Остальные семеро ртов — девки и ребятенки малые. Выдал я Ивана в зятья на своем же хуторе, и вскорости родилось дите у него. Данилу тоже было счинался женить, но тут наступило смутное время. Получилось у нас в станице противу Советской власти восстание! Прибегает на другой день ко мне Иван.

— Давайте,— говорит,— батя, уходить к красным. Христом-богом прошу вас! Нам нужно ихнюю сторону одерживать затем, что власть до крайности справедливая.

Данила тоже в это самое уперся. Долго они меня сманывали, но я им так сказал:

— Вас я не приневоливаю, идите, а я никуда не пойду. У меня, окромя вас,— семеро по лавкам, и каждый рот куска просит!

С тем они и скрылись с хутора, а станица наша вооружилась чем попадя, и меня под белы руки и на фронт.

На сходе говорил я:

— Господа старики, всем вам известно, что я человек семейный. Семерых детишек имею. Ну, как ухлопают меня, кто тогда будет семью мою оправдывать?

Я так, я сяк,— нет!.. Безо всяких вниманиев сгребли и отправили на фронт.

Позиции стали как раз под нашим хутором. И вот, дело это было под Пасху, пригоняют в хутор девять человек пленных, и Данилушка — голубь мой любый — с ними... Провели их по площади к сотенному. Казаки на улицу высыпали, шумят:

— Побить их, гадов! Как выведут с допроса — крой в нашу силу!..

Стою я промеж них, колени у меня трясутся, но видимости не подаю, что жалко мне сына, Данилушку-то... Поведу глазами этак в сторону, вижу — шепчутся казаки и головами на меня кивают... Подошел ко мне вахмистр Аркашка, спрашивает:

— Ты что же, Микишара, будешь коммунов бить?

— Буду, злодеев таких-сяких!..

— Ну, на́ тебе штык и становись на крыльцо.— Дает мне штык, а сам ощеряется: — Примечаем мы за тобой, Микишара... Гляди — плохо будет.

Стал я на порожках, думаю: «Матерь пречистая, неужто я сына буду убивать?»

Слышу сотенного крик. Вывели пленных, а попереди Данила мой... Глянул я на него, и захолодала у меня душа... Голова у него вспухла, как ведро,— будто освежеванная... Кровь комом спеклась, перчатки пуховые на голове, чтоб не по голому месту били... Кровью напитались они и к волосам присохли... Это их дорогой к хутору били... Идет он по сенцам, качается. Глянул на меня, руки протянул... Хочет улыбнуться, а глаза в синих подтеках, и один кровью заплыл...

Понял я тут: ежели не вдарю его, то убьют меня свои же хуторные, останутся малые дети горькими сиротами... Поравнялся он со мной.

— Батя,— говорит,— родной мой, прощай!..

Слезы у него кровь по щекам смывают, а я... насилу руку поднял... будто окостенел... В кулаке у меня штык зажатый. Вдарил я его тем концом, какой на винтовку надевается. В это место вдарил, повыше уха... Он как крикнет — ой! — заслонил лицо ладонями и упал с порожек... Казаки гогочут:

— Омочай их, Микишара! Ты, видно, прижеливаешь свово Данилку!.. Бей, а то тебе кровицу пустим!..

Сотенный вышел на крыльцо, сам ругается, а в глазах — смех... Как начали их штыками пороть, у меня душа

замутилась. Кинулся я в уличку бежать, глянул в сторону — увидал, как Данилушку мово по земле катают. Воткнул ему вахмистр штык в горло, а он только — кррр.

Внизу под напором воды хрустнули доски парома, слышно было, как хлынула вода, а верба дрогнула и тягуче заскрипела. Микишара потрогал ногою вздыбившуюся корму, сказал, выбивая из трубки желтую метелицу искр:

— Утопает наш паром, завтра придется до полудня дневалить на вербе. Вот случай какой выпал!..

Долго молчал, потом, понижая голос, глухо заговорил:

— Меня за энто дело в старшие урядники произвели...

Много воды в Дону утекло с той поры, а досель вот ночьми иной раз слышу, как будто кто хрипит, захлебывается... Тогда, как бежал, слышал Данилушкин-то хрип... Вот она, совесть, и убивает...

До весны держали мы фронт против красных, потом соединился с нами генерал Секретёв, и погнали красных за Дон, в Саратовскую губернию. Я — человек семейный, а от службы никакого послабления не дали, потому что сыны в большевиках. Дошли мы до города Балашова. Про Ивана — сына старшего — ни слуху ни духу. Как прознали казаки — чума их ведает, что Иван от красных перешел и служит в тридцать шестой казачьей батарее. Грозились хуторные: «Ежели найдем где Ваньку, душу вынем».

Заняли мы одну деревню, а тридцать шестая там...

Нашли мово Ивана, скрутили и приводят в сотню. Тут его люто избили казаки и сказали мне:

— Гони его в штаб полка!

Штаб стоял верстах в двенадцати от этой деревни. Дает сотенный мне бумагу и говорит, а сам в глаза не глядит:

— Вот тебе, Микишара, бумага. Гони сына в штаб: с тобой надежней, от отца не убежит!..

И вразумил тут меня господь. Догадался я: к тому они меня в конвой назначают, думают, что пущу я сына на волю, опосля и его словят, и меня убьют...

Прихожу я в ту хату, где содержали Ивана под арестом, говорю страже:

— Давайте арестованного, я его погоню в штаб.

— Бери, — говорят, — нам не жалко!..

Накинул Иван шинель внапашку, а шапку покрутил-покрутил в руках и кинул на лавку. Вышли мы с ним за деревню на бугор, он молчит, и я молчу. Только дошли мы до полпутя, часовенку минули, а позаду никого не видно. Тут Иван обернулся ко мне и говорит жалостно так:

— Батя, все одно в штабе меня убьют, на смерть ты меня гонишь! Неужто совесть твоя досель спит?

— Нет, — говорю, — Ваня, не спит совесть!

— А не жалко тебе меня?

— Жалко, сынок, сердце тоскует смертно...

— А коли жалко — пусти меня... Не нажился я на белом свете!

Упал посередь дороги и в землю мне поклонился до трех раз. Я ему и говорю на это:

— Дойдем до яров, сынок, ты беги, а я для видимости вслед тебе стрельну раза два...

И вот поди ж ты, малюсеньким был — и то слова ласкового, бывало, не добьешься, а тут кинулся ко мне и руки целует... Прошли мы с ним версты две, он молчит, и я молчу. Подошли к ярам, он приостановился.

— Ну, батя, давай попрощаемся! Доведется живым остаться, до смерти буду тебя покоить, слова ты от меня грубого не услышишь...

Обнимает он меня, а у меня сердце кровью обливается.

— Беги, сынок! — говорю ему.

Побег он к ярам, все оглядывается и рукой мне махает.

Отпустил я его сажен на двадцать, потом винтовку снял, стал на колено, чтоб рука не дрогнула, и вдарил в него... взад...

Микишара долго доставал кисет, долго высекал кресалом огня, закуривал, плямкая губами. В пригоршне рдел трут, на лице паромщика двигались скулы, а из-под напухших век косые глаза глядели жестко и нераскаянно.

— Ну, вот... Подсигнул он вверх, сгоряча пробег сажен восемь, руками за живот хватается, ко мне обернулся.

— Батя, за что?! — и упал, ногами задрыгал.

Бегу к нему, нагнулся, а он глаза под лоб закатил, и на губах пузырями кровь. Я думал — помирает, но он сразу привстал и говорит, а сам руку мою рукой лапает:

— Батя, у меня ить дите и жена...

Голову уронил набок, опять упал. Пальцами зажимает ранку, но где же там... Кровь-то так скрозь пальцев и хлобыщет... Закряхтел, лег на спину, строго на меня глядит, а язык уже костенеет... Хочет что-то сказать, а сам все: «Батя... ба... ба... тя...» Слеза у меня пошла из глаз, и стал я ему говорить:

— Прими ты, Ванюшка, за меня мученский венец. У тебя — жена с дитем, а у меня их семеро по лавкам.

Ежели б пустил я тебя — меня б убили казаки, дети по́ миру пошли бы христарадничать...

Немножко он полежал и помер, а руку мою в руке держит... Снял я с него шинель и ботинки, накрыл ему лицо утиркой и пошел назад в деревню...

Вот ты и рассуди нас, добрый человек! Я за детей за этих столько горя перенес, седой волос всего обметал. Кусок им зарабатываю, ни днем, ни ночью спокою не вижу, а они... к примеру, хоть бы Наташка, дочь-то, и говорит: «Гребостно с вами, батя, за одним столом исть!»

Как мне возможно это теперича переносить?

Свесив голову, глядит на меня паромщик Микишара тяжким, стоячим взглядом; за спиной его кучерявится мутный рассвет. На правом берегу, в черной копне кудлатых тополей, утиное кряканье переплетается с простуженным и сонным криком:

— Ми-ки-ша-ра-а! Шо-о-орт!.. Па-ром го-ни-и-и...

1925

КРИВАЯ СТЕЖКА

Как будто совсем недавно была Нюрка неуклюжей, разлапистой девчонкой. Ходила вразвалку, косо переступая ногами, нескладно помахивала длинными руками; при встрече с чужими сторонилась и глядела из-под платка чернявыми глазами смущенно и диковато. А теперь перешла Ваське дорогу статная грудастая девка, на ходу глянула прямо, чуть-чуть улыбчиво, и словно ветром теплым весенним пахнуло Ваське в лицо.

На миг зажмурился, потом глянул вслед, проводил глазами до поворота и тронул коня рысью. Уже на водопое, разнуздывая коня, улыбнулся, вспоминая встречу. Почему-то стояли перед глазами Нюркины руки, уверенно и мягко обнимающие цветастое коромысло, и зеленые ведра, качающиеся в такт шагам. С этой поры искал встречи с ней, к речке ездил нарочно по крайней улице, где был двор Нюркиного отца, и когда видел ее за плетнем или в просвете окна, то радость тепло тлела в груди; натягивал поводья, стараясь замедлить лошадиный шаг.

На той неделе в пятницу поехал на луг верхом — поглядеть на сено. После дождя дымилось оно и сладко

попахивало прелью. Возле Авдеевых копен увидел Нюрку. Шла она, подобрав подол юбки, хворостиной помахивала. Подъехал.

— Здорово, раскрасавица!

— Здорово, коль не шутишь. — И улыбнулась.

Соскочил с коня Васька, поводья бросил.

— Чего ищешь, Нюра?

— Телок запропастился... Не видал ли где?

— Табун давно прошел в станицу, а вашего телка не примечал.

Достал кисет, свернул «козью ножку». Слюнявя газетный клочок, спросил:

— Когда ты успела, девка, вымахать такой здоровой? Давно ли в пятишки на песке игралась, а теперь — ишь...

Улыбкой прижмурились Нюркины глаза. Ответила:

— Что нам делается, Василий Тимофеевич! Вот и ты вроде как недавно без штанов бегал в степь скворцов сымать, а теперь уж в хате, небось, головой за перекладину цепляешься.

— Что ж замуж-то не выходишь? — Зажег Васька спичку, чадно дымнул самосадом.

Нюрка вздохнула шутливо, руками сокрушенно развела:

— Женихов нету!

— А я чем же не жених? — Хотел улыбнуться Васька, но улыбка вышла кривая и ненужная. Вспомнил, каким выглядел он в зеркале: щеки, густо изрытые давнишней оспой, чуб курчавый, разбойничий, низко упавший на лоб.

— Рябоват вот ты маленечко, а то бы всем ничего...

— С лица тебе не воду пить... — багровея, уронил Васька.

Нюрка улыбнулась чуть приметно, помахивая хворостиной, сказала:

— И то справедливо!.. Что ж, ежели нравлюсь — сватов засылай.

Повернулась и пошла к станице, а Васька долго сидел под копною, растирал промеж ладоней приторную листву любистика, думал: «Смеется, стерва, аль нет?»

От речки, из лесу, потянуло знобким холодком.

Туман, низко пригибаясь, вился над скошенной травой, лапал пухлыми седыми щупальцами колючие стебли, по-бабьи кутал курившиеся паром копны. За тремя тополями, куда зашло на ночь солнце, небо цвело шиповником, и крутые вздыбленные облака казались увядшими лепестками.

* * *

У Васьки семья—мать да сестра. Хата на краю станицы крепко и осанисто вросла в землю, подворье небольшое. Лошадь с коровой — вот и все имущество. Бедно жил отец Васьки.

Вот поэтому-то в воскресенье, покрываясь цветной в разводах шалью, сказала мать Ваське:

— Я, сыночек, не прочь. Нюрка — девка работящая и собой не глупая, только живем мы бедно, не отдаст ее за тебя отец... Знаешь, какой норов у Осипа?

Васька, надевая сапоги, промолчал, лишь щеки набухли краской. То ли от натуги (сапог больно тесен), то ли еще от чего.

Мать кончиком шали вытерла сухие, бледные губы, сказала:

— Я схожу, Вася, к Осипу, но ить страма будет, коль с крылечка выставят сваху. Смеяться по станице будут...— помолчала, не глядя на Ваську, шепнула: — Ну, я пойду.

— Иди, мамаша.—Васька встал и вяло улыбнулся.

* * *

Рукавом вытирая лоб, покрывшийся липким и теплым потом, мать Васьки сказала:

— У вас, Осип Максимович, товар, а у нас покупатель есть... Из-за этого и пришла... Как вы можете рассудить это?

Осип, сидевший на лавке, покрутил бороду и, сдувая с лавки пыль, проговорил:

— Видишь, какое дело, Тимофеевна... Я бы, может, и не прочь... Василий, он — парень для нашего хозяйства подходящий. А только выдавать мы свою девку не будем... рано ей невеститься... Ребят-то нарожать — дело немудрое!..

— Тогда уж извиняйте за беспокойствие! — Васькина мать поджала губы и, вставая с сундука, поклонилась.

— Беспокойствие пустяшное... Что ж спешишь, Тимофеевна? Пополудновала бы с нами?

— Нет уж... домой поспешать надо... Прощайте, Осип Максимович!..

— С богом, проваливай! — вслед хлопнувшей двери, не вставая, буркнул хозяин.

С надворья вошла Нюркина мать. Насыпая на сковородку подсолнечных семечек, спросила:

— Что приходила-то Тимофеевна?

Осип выругался и сплюнул:

— За свово рябого приходила сватать... Туда же, гнида вонючая, куда и люди!.. Нехай рубит дерево по себе!.. Тоже свашенька, — и рукой махнул, — горе!..

* * *

Кончилась уборка хлебов. Гумна, рыжие и лохматые от скирдов немолоченого жита, глядели из-под плетней выжидающе. Хозяев ждали с молотьбой, с работой, с зубарями, орущими возле молотильных машин хрипло и надсадно:

— Давай!.. Давай... Да-ва-а-ай!..

Осень приползла в дождях, в пасмурной мгле.

По утрам степь, как лошадь коростой, покрывалась туманом. Солнце, конфузливо мелькавшее за тучами, казалось жалким и беспомощным. Лишь леса, не зажженные жарою, самодовольно шелестели листьями, зелеными и упругими, как весной.

Часто один за другим длинной вереницей в скользком и противном тумане шли дожди. Дикие гуси почему-то летели с востока на запад, а скирды, осунувшиеся и покрытые коричневатой прелью, похожи были на захворавшего человека.

В предосенней дреме замирала непаханая земля. Луга цветисто зеленели отавой, но блеск их был обманчив, как румянец на щеках изъеденного чахоткой.

Лишь у Васьки буйным чертополохом цвела радость — оттого что каждый день видел Нюрку: то у речки встретятся, то вечером на игрищах. Поглупел парень, высох весь, работа в руках не держится...

И вот тут-то, днем осенним и хмурым, как-то перед вечером гармошка, раньше хныкавшая и скулившая щенком безродным, вдруг загорланила разухабисто, смехом захлебнулась...

К Ваське во двор прибежал Гришка, секретарь станичной комсомольской ячейки. Увидал его — руками машет, а улыбка обе щеки распахала пополам.

— Ты чего щеришься, железку, должно, нашел? — поддел Васька.

— Брось, дурило!.. Какая там железка... — Дух перевел, выпалил: — Нашему году в армию идти!.. На призыв через три дня!..

Ваську как колом кто по голове ломанул. Первой

мыслью было: «А Нюрка как же?» Потер рукой лоб, спросил глухо:

— Чему же ты возрадовался?

Гришка брови до самых волос поднял:

— А как же? Пойдем в армию, чудак, белый свет увидим, а тут, окромя навоза, какое есть удовольствие?.. А там, брат, в армии — ученье...

Васька круто повернулся и пошел на гумно, низко повесив голову, не оглядываясь...

* * *

Ночью возле лаза через плетень в Осипов сад ждал Васька Нюрку. Пришла она поздно. Зябко куталась в отцовский зипун. Подрагивала от ночной сырости.

Заглянул Васька в глаза ей, ничего не увидел. Казалось, не было глаз, и в темных порожних глазницах чернела пустота.

— Мне на службу идтить, Нюра...

— Слыхала.

— Ну, а как же ты?.. Будешь ждать меня, замуж за другого не выйдешь?

Засмеялась Нюра тихоньким смешком; голос и смех показались Ваське чужими, незнакомыми.

— Я тебе говорила раньше, что на отца с матерью не погляжу, и пошла бы... Но теперя не пойду!.. Два года ждать, это не шуточка!.. Ты там, может, городскую сыщешь, а я буду в девках сидеть? Нету дур теперя! Попроси другую, может, и найдется какая, подождет...

Заикаясь и дергая головой, долго говорил Васька. Упрашивал, уверял, божился, но Нюрка с хрустом ломала в руках сухую ветку и твердо кидала Ваське в ответ одно скупое, черствое слово:

— Нет! Нет!

Под конец, озлобившись, дыша обрывисто, крикнул Васька:

— Ну, ладно, стерва!.. Мне не достанешься, а другому и подавно! А ежели выйдешь за другого — рук моих не минуешь!

— Руки-то тебе короткими сделают, не достанешь!.. — пыхнула Нюрка.

— Как-нибудь дотянусь!

Не прощаясь, прыгнул Васька через плетень и пошел по саду, затаптывая в грязь желтые опавшие листья.

* * *

А утром сунул в карман полушубка краюху хлеба, в сумочку, потаясь от матери, всыпал муки и пошел на квартиру к лесничему.

От бессонной ночи тяжело никла голова, слезились припухшие глаза, и все тело сладко и больно ныло. Осторожно минуя лужи, подошел к крыльцу. Лесничий воду в колодце черпает.

— Ты ко мне, Василий?

— К вам, Семен Михайлыч... Хочу перед службой напоследях поохотничать...

Лесничий, перегибаясь на левый бок, подошел с ведром, прищурился.

— В это воскресенье начабанил что?

— Зайчишку одного подсек.

Вошли в хату. Лесничий поставил на лавку ведро и вынес из горницы ветхую централку. Васька, хмуро поглядывая в угол, сказал:

— Мне бы винтовку надо... Лису заприметил в Сенной балке.

— Могу и винтовку, только патронов нету.

— У меня свои.

— Тогда бери. Обратно будешь идти — зайди. Похвались!.. Ну, ни пера, ни пуха!.. — улыбаясь, крикнул лесничий вслед Ваське.

* * *

Верстах в четырех от станицы, в лесу, там, где промытый весенней водой яр ветвится крутыми уступами, под вывороченной корягой в красной маслянистой глине выдолбил Васька пещерку небольшую, впору лишь волку уместиться. Жил в ней четвертые сутки.

Днем в лесу, на дне яра, теплая прохлада, запах хмельной и бодрящий: листья дубовые пахнут, загнивая. Ночью под кривыми танцующими лучами ущербленного месяца овраг кажется бездонным, где-то наверху шорохи, похрустывание веток, неясный, рождающий тревогу звук. Словно кто-то крадется над излучистой каймою оврага, заглядывая вниз. Изредка после полуночи перекликаются молодые волчата.

Днем выходил Васька из оврага, вяло передвигая ноги, шел через густой колючий терн, через голый орешник, через балки, на четверть засыпанные оранжевыми листья-

ми. И когда сквозь чахлую завесу неопавших листьев мелькала бледно-зеленая гладь реки и за нею выбеленные кубики домов в станице, чувствовал Васька тупую боль где-то около сердца. Долго лежал на крутом берегу, скрытый порослью хвороста, смотрел, как из станицы шли бабы к речке за водой. На второй день увидал мать, хотел крикнуть, но из проулка выехала арба. Казак помахивал кнутом и глядел на речку.

В первую же ночь, как только лег на ворох сухих шуршащих листьев, глаз не сомкнул до рассвета, — думал и понял Васька, что не на ту стежку попал, на кривую. Топтать эту стежку до худого конца вместе с ребятами с большого шляха. И еще понял Васька то, что все теперь против него: и Нюрка, и ребята-одногодцы, те, что под заливистую канитель гармошки пошли в армию. Будут служить они и в нужную минуту станут на защиту Советов, а он, Васька, кого будет защищать?..

В лесу, в буреломе, затравленный, как волк на облаве, как бешеная собака, умрет от пули своего же станичника он, Васька, сын пастуха и родной кровный сын бедняцкой власти.

Едва засветлел лиловой полосою восток, бросил Васька в овраге винтовку и пошел к станице, все ускоряя и ускоряя шаги:

«Пойду, объявлюсь!.. Нехай арестуют. Присудят, зато с людьми... От своих и снесу!..» — колотилась горячая до боли мысль. Добежал до речки и стал. За песком, за плетнями дворов дымились трубы, ревел скот. Страх холодными мурашками покрыл Ваське спину, дополз до пяток.

«Присудят года на три... Нет, не пойду!..»

Круто повернул и, как старый матерый лисовин от гончих, пошел по лесу, виляя и путая следы.

На шестой день кончились мука и хлеб, взятые из дому. Дождался Васька ночи, перекинул винтовку через плечо, тихо, стараясь не хрустеть валежником, дошел до речки. Спустился к броду. На песке зернистом и сыром — следы колес. Перебрел и задами дошел до Осипова гумна. Сквозь голые ветви яблонь виден был огонь в окне.

Остановился Васька, до боли захотелось увидеть Нюрку, сказать, упрек кинуть в глаза. Ведь из-за нее он стал дезертиром, из-за нее гибнет в лесу.

Перепрыгнул через прясло, миновал сад, на крыльцо взбежал, стукнул щеколдой — дверь не заперта. Вошел в сени, тепло жилья ударило и закружило голову.

Мать Нюрки месила пироги, обернулась на скрип двери и, ахнув, уронила лоток. Осип, сидевший возле стола, крякнул, а Нюрка взвизгнула и опрометью кинулась в горницу.

— Здорово живете! — просипел Васька.

— Сла... сла-ва бо-гу... — заикаясь, буркнул Осип.

Не скидая шапки, прошел Васька в горницу. Нюрка сидела на сундуке, колени ее мелко дрожали.

— Ай не рада, Нюрка? Что ж молчишь? — Васька подсел на сундук, винтовку поставил возле.

— Чему радоваться-то? — обрывисто прошептала Нюрка. И, всплеснув руками, заговорила, сдерживая слезы: — Иди, бога ради, отсюда!.. Милиция из района наехала, самогонку ищут... Найдут тебя... Иди, Васька!.. Пожалей ты меня!..

— Ты-то меня жалела? А?

* * *

Едва закрыл Васька за собой дверь, Осип мигнул жене и, косясь на горницу, откуда слышался Нюркин шепот, похрипел:

— Беги к Семену!.. Милиция у него стоит! Зови сейчас!..

Нюркина мать неслышно отворила дверь и метнулась через двор черной тенью.

* * *

Васька, трудно глотая слюну, попросил:

— Дай, Нюрка, кусок пирога... Другие сутки не ел...

Нюрка встала, но дверь из кухни порывисто распахнулась, в просвете стояла Нюркина мать с лампой, платок у нее сбился набок, на лоб свисали вспотевшие космы волос. Крикнула визгливо:

— Берите его, сукиного сына, товарищи милиция!.. Вот он!..

Из-за ее плеча глянул милиционер, хотел шагнуть в горницу, но Васька цепко ухватил винтовку, наотмашь ударил прикладом по лампе, прыжком очутился у окна, вышиб ногою раму и, выпрыгнув, грузно упал в палисаднике.

На миг лицо обжег холод. В хате визг, шум, хлопнула дверь в сенях.

Легко перемахнул Васька через плетень и, перехватив винтовку, прыжками побежал к гумну. Сзади — топот чьих-то ног, крики:

— Стой, Васька!.. Стой, стрелять буду!..

По голосу Васька узнал милиционера Прошина, на ходу скинул винтовку, оборачиваясь, не целясь, выстрелил. Сзади четко стукнул наган. Перепрыгивая гуменное прясло, Васька почувствовал, как левое плечо обожгло болью. Словно кто-то несильно ударил горячей палкой. Перемогая боль, двинул затвором, щелкнула выброшенная гильза. Загнал патрон и, целясь в мелькавшую сквозь просветы яблони первую фигуру, спустил курок.

Вслед за выстрелом услышал, как Прошин упавшим голосом негромко вскрикнул:

— Стерва... в живот... О-о-ой, больно!..

Через брод бежал, не чуя холодной воды. Сзади нечасто топал второй милиционер. Оборачиваясь, Васька видел черные полы его шинели, раздутые ветром, и в руке зажатый наган. Мимо повизгивали пули...

Взобравшись на кручу, Васька послал вслед возвращавшемуся от речки милиционеру пулю и, расстегнув ворот рубахи, приник губами к ранке. Соленую и теплую кровь сосал долго, потом пожевал комочек хрустящей на зубах земли, приложил к ранке и, чувствуя, как в горле нарастает непрошеный крик, стиснул зубы.

* * *

На другой день перед сумерками добрел до речки и залег в хворосте. Плечо вспухло багрово-синим желваком, боль притупилась, рубаха присохла к ране, было больно лишь тогда, когда двигал левой рукой.

Лежал долго, сплевывая непрестанно набегавшую слюну. В голове было пусто, как с похмелья. До тошноты хотелось есть, жевал кору, обдирая хворостинки, и, сплевывая, смотрел на зеленые комочки слюны.

С той стороны к речке подходили бабы, черпали в ведра воду и уходили, покачиваясь. Уже перед темнотой из проулка вышла баба, направляясь к речке. Васька привстал на локте, охнул от боли, неожиданно пронизавшей плечо, и злобно стиснул рукою холодный ствол винтовки.

К речке шла Нюркина мать. Пуховый платок надвинут на самые глаза. Как видно, торопится. Васька дрожащей рукой сдвинул предохранитель. Протирая глаза, вгляделся. «Ну да, это она». Такой ярко-желтой кофты, как у Нюркиной матери, не носит никто в станице.

Васька по-охотничьи поймал на мушку голову в пуховом платке.

— Получай, сучка, за то, что доказала!..

Грохнул выстрел. Баба бросила ведра и без крика побежала к дворам.

— Эх, черт!.. промах!..

Вновь на мушке запрыгала желтая кофта. После второго выстрела Нюркина мать нехотя легла на песок и свернулась калачиком.

Васька не спеша перебрел на ту сторону и, держа винтовку наперевес, подошел к подстреленной.

Нагнулся. Жарко пахну́ло женским потом. Увидал Васька распахнутую кофту и разорванный ворот рубахи. В прореху виднелся остро выпуклый розовый сосок на белой груди, а пониже — рваная рана и красное пятно крови, расцветавшее на рубахе лазоревым цветком[1].

Заглянул Васька под надвинутый на лоб платок, и прямо в глаза ему взглянули тускнеющие Нюркины глаза.

Нюрка шла в материной кофте за водой.

Поняв это, крикнул Васька и, припадая к маленькому неподвижному телу, калачиком лежавшему на земле, завыл долгим и тягучим волчьим воем. А от станицы уж бежали казаки, махая кольями, и рядом с передним бежала, вьюном вилась шершавая собачонка. Повизгивая, прыгала вокруг и все норовила лизнуть его в самую бороду.

1925

ДВУХМУЖНЯЯ

На бугре, за реденьким частоколом телеграфных столбов щетинистыми хребтинами сутулятся леса: Качаловские, Атаманские, Рогожинские. Одна суходолая отножина, заросшая мохнатым терном, упирается в поселок Качаловку, а низкорослые домишки поселка подползают чуть не вплотную к постройкам качаловского коллектива.

Ногн раскорячив и угнувшись слегка вперед, возле сурчиной горы стоит Арсений Клюквин, председатель качаловского коллектива. Ветер полощет неподпоясанную рубаху на нем и бисерный пот гонит со лба к переносью. Рядом дед Артем из-под шершавой ладони смотрит, как за

[1] Лазоревым цветком на Дону называют степной тюльпан.

пахучими буграми сурчиных нор трактор черноземную целину кромсает глянцевитыми ломтями. С утра вымахал четыре десятины. Нынче первая проба. От радости у Арсения в горле смолистая сушь; проводил до конца загона взглядом горбатую спину трактора, от жары бурые губы облизывая, сказал:

— Во, дед Артем, машина!..

А дед, кряхтя и стоная, по лохматой борозде заспотыкался, на ходу в коричневый узловатый кулак зажал ком жирной земли, растер на ладони и, обернувшись к Арсению, шапчонку кинул на землю, пережеванную лемехами, выкрикнул плачущим голосом:

— Обидно мне до крови! Пятьдесят годов я на быка, а бык на меня работал... День пашешь, а ночь — кормишь его, сну не видишь... Опять же в зиму худобу годуешь... А теперь как мне возможно это переносить?

Указал дед кнутовищем на трактор, рукой махнул горько и, нахлобучив шапку, пошел, не оглядываясь.

Ушло за курган на ночь солнце. Сумерки весенние торопливо закутали степь. Слез с трактора машинист, рукавом размазал по щекам белесую пыль.

— Ужинать пора. Иди домой, Арсений Андреевич. Теперь бабы коров подоили, парного молока принесешь.

По низкорослой поросли озимей идет к жилью Арсений. Из балки на пригорок стал подниматься — услышал скрип арбы, бабий слезливый голос:

— Цоб, проклятые! И что я с вами буду делать, с нечистыми? Цо-об!..

Сбочь дороги на суглинке, взмокшем от вечерней росы, быки, запряженные в арбу, стоят. Пар над потными бычачьими спинами. Бабенка вокруг попрыгивает, кнутом беспомощно машет.

Поравнялся Арсений.

— Здорово живешь, молодка.

— Слава богу, Арсений Андреевич.

Жаркой радостью хлестнуло Арсения, колени дрогнули.

— Никак, это ты, Анна?

— Я и есть. Замучилась вот с быками, никак не везут... Чистое горе...

— Откель едешь?

— С мельницы. Нагрузили рожь, быки не стронут с места.

Плевое дело Арсению поддевку с плеч смахнуть, на руки бабе кинул, смеется:

— Подсоблю выехать, магарыч будет? — норовит в глаза заглянуть.

Баба в сторону их отводит, платок надвигает.

— Помоги, за-ради бога!.. Сочтемся...

Двадцать седьмой год Арсению, и силенка имеется. Шесть мешков вынес на пригорок. Потный спустился в балку. Присел на арбу, переводя дух.

— Ну как, про мужа не слыхать?

— Какие из-за моря, от Врангеля, вернулись казаки, гутарили, что помер в Туретчине.

— Как же жить думаешь?

— А все так же... Ну, надо ехать, и так припозднилась. Спасибо за помощь, Арсений Андреевич!

— Из спасиба шубы не выкроишь...

Улыбка примерзла на губах у Арсения; минуту молчал, потом, перегнувшись, левой рукой крепко захватил голову в белом платке, прижался губами к губам, дрогнувшим и прохладным, но щеку до стыда, до боли ожгла рука в колючих мозолях, вырвалась Анна, оправляя скособочившийся платок, захлебнулась плачущим визгом:

— Стыда на тебе нету, паскудник!

— Ну, чего орешь-то? — спросил Арсений, понижая голос.

— Того, что мужняя я! Зазорно! Другую сыщи на это!..

Дернула Анна быков за налыгач, крикнула от дороги — а в голосе слезы:

— Все вы, кобели, одним и дышите!.. Да ну, цоб же, проклятые!.

* * *

Сады обневестились, зацвели цветом молочно-розовым, пьяным. В пруду качаловском, в куге прошлогодней, возле коряг, ржавых и скользких, ночами хмельными — лягушачьи хороводы, гусиный шепот любовный да туман от воды... И дни погожие, и радость солнечная у Арсения, председателя качаловского коллектива, оттого, что земля не захолостеет попусту (трактор есть), — а вот ущемила сердце одна сухота, и житья нету... На третьи сутки встал раньше кочетов Арсений, вышел к ветряку на прогон и сел возле скрипучего причала. Пусть назавтра судачат бабы, пусть ребята из коллектива будут подмигивать на него ехидно и смеяться за глаза и в глаза, — лишь бы увидать ее, лишь бы сказать про то, что с тех пор, как осенью, во время

молотьбы, вместе с нею на скирду вилами бугрили чернобылый ячмень, и работа, и свет белый не милы ему...

Издалека заприметил белую косынку.

— Здравствуй, Анна Сергеевна!

— Здравствуй, Арсений Андреевич.

— Сказать тебе хочу словцов несколько.

Отвернувшись, завеску сердито скомкала.

— Хочь бы людей-то посовестился!.. Каки-таки разговоры на прогоне?.. Перед бабами страмотно!..

— Дай сказать-то!

— Некогда: корова в кукурузу зайдет!

— Погоди!.. Просить буду, как смеркнется, приди к ольхам, дело есть...

Голову в плечи вобрала, пошла, не оглядываясь.

...Возле ольх, неотрывно обнявшихся, буйная ежевика кусты треножит, возле ольх по ночам перепелиные точки, и туман по траве кудреватые стежки вывязывает. Ждал Арсений до темноты, и когда с горы зашуршала глина, осыпаясь под чьими-то воровскими шагами, почувствовал, как холодеют пальцы и липкой испариной мокнет лоб.

— Обидел я тебя тогда? Брось, не серчай, Анна!

— Привыкла к этому без мужа-то...

— Ну, а теперь дело хочу сказать... Живешь ты вдовой, свекру не нужна... Может, замуж за меня пойдешь? Жалеть буду... Ну, вот, чудная, чего же ты хнычешь? Беда с вами, бабами!.. Ежели всчет мужа сумлеваешься, на случай, коли придет, приневоливать не стану... К нему уйдешь, коли захочешь...

Села рядом на влажную, облитую росою землю. Сидела, низко опустив голову. Засохшим стеблем бурьяна чертила на земле невидимые узоры.

Обнял Арсений ее несмело — боялся, что вырвется, крикнет, обзовет обидным словом, как тогда, в поле; но когда заглянул в глаза — увидал под черной тенью платка следы непросохших слез и улыбку.

— Эх, Анна, плюнь на все!.. Пойдем распишемся и в коллектив к нам работенку ломать!.. До коих пор будешь горе-то мыкать?

* * *

Засуха. По левадам, кукушек вспугивая, косы перезванивают. Не косят траву добрые люди — под корень грызут. За Авдюшкиным логом коллективский трактор две косилки

тягает. Пыльно. Горячо. Валы сена степь исконопатили. Солнце в обед — вилы бросил Арсений, вытряхнул из рубахи колкую пыль, к стану пошел умыться, навстречу — жена Аннушка. За версту угадал ее по походке быстрой, враскачку. Несет харчи косарям. Подошла. Румянец на щеках, нацелованных солнцем.

— Уморилась, Нюра?.. До жилья ведь верст тринадцать.

— Нет, не дюже. Если б не жара, легко можно б идтить.

Сидели под копной рядом, руку гладил Арсений зачерствевшей от вил рукою, бодрил улыбкой глаз.

А вечером встретила его у крыльца, за перила цепко держалась, словно боялась упасть. С трудом выдавила из побелевших губ:

— Арсюша!.. Муж... Александр письмо из Туретчины прислал... Домой обещает приехать...

Кому счастье, а кому и счастьице...

У качаловцев хлебец начисто погорел, по полю, коричневому от загара, колос от колоса — не слыхать девичьего голоса, да и то не колос, а так, сухобыл один, коренастый и порожний, пустотой звенит под ветром. А у коллектива в клину промеж Качаловского леса и Атаманского, вдоль шляха, там, где до осени ветер измывался над сосновой дощечкой с надписью «Показательная обработка», пшеница-кубанка вымахала рослой лошадюке по пузо. Кому какая линия выйдет... Качаловский богатей Ящуров (имеет двенадцать пар быков, лошадей косяк, паровую молотилку и цепкие мышастые глазки) попервоначалу, с весны, когда дождь спустился на качаловские поля, а коллективский хлеб самую малость крылом зацепил, — говорил с ухмылочкой, покусывая кончик житнистой бороды ядреным желтым зубом:

— Бог, он ить правду видит... Какие в послушании к нему пребывают и чтят веру Христову — тем и дождичек, так-то-с!.. А вот коллективских коммунистов умыло!.. Больно прыткие!.. Без бога, сказано, не до порога!..

И прочее разное говорил, а проезжая шляхом повыше Качаловских лесов, приостанавливал своего гладкого пятнистого мерина и, указывая кнутом на дощечку, плясавшую на столбе под ветром, смеялся, ощеряя желтые кабаньи клыки, и животом тряс:

— Пока-за-а-а-тель-ная!.. Вот оно осенью покажет!..

Трактор ломил пахоту в колено, качаловцы ковыряли кое-как, по-дедовски. У качаловцев с десятины по восьми

мер наскребли, коллективцы по сорок сняли. Смеялись качаловцы, зависть скрывая:

— Сиротское, мол, не пропадет...

А только вышло так, что в сентябре, в праздник, пришли качаловцы с хуторского схода к двору коллективскому. Погомонили возле амбаров, распухших от хлеба, трактор долго щупали глазами и пальцами заскорузлыми, кряхтели, и уже перед уходом дед Артем — мужик из заправских хозяев — отвел Арсения в сторону и, втыкая в ухо ему прокуренную бороду, забурчал:

— Просьбицу имеем к вам, Арсений Андреевич. Сделай божеску милость, примай нас гуртом в свой килектив! Двадцать семей нас, которы беднеющи...

Поклонился старикам Арсений обрадованно.

— Добро пожаловать!..

Работы по горло в коллективе. Засушливый год. Недостача хлеба в окружных хуторах и станицах. По шляху мимо Качаловки толпами проходят нищие. Заворачивают и в Качаловку. У расписных ставней скрипят тягучие слабые голоса:

— Христа ради...

Распахнется обсиженное мухами окошко, глянет на выжженную солнцем улицу бородатая голова, буркнет:

— Идите добром, прохожие люди, а то собаками притравлю! Вон — килектив, у них и спрашивайте!.. Они власть этую постановили, они вас и кормить должны!

Каждый день тянутся одиночками и толпами к смолистым обструганным воротам коллектива.

Арсений, осунувшийся и загорелый, отчаянно машет руками:

— Куда я вас дену? Везде полно! Ведь не прокормимся мы с вами!

Но коллективские бабы на Арсения гудят потревоженным пчелиным роем, и обычно кончается тем, что Арсений и мужики, отмахиваясь руками, уходят на гумно к молотилке, а бабы ведут гостей в длинный амбар, устроенный под жилье, и до вечера из окон просторной кухни рвется во двор грохот чугунов и звон посуды.

Иногда на гумно, запыхавшись, прибегает кладовщик, дед Артем, хрипит, сокрушенно отплевываясь:

— Сладу с бабами нету!.. Сыщи ты, Арсений, на них какую-нибудь управу. Навели кучу старцев и ключи от кладовой у меня отняли!.. Обед стряпают, а пшена нагребли на восемь рылов больше!..

— Ляд с ними, дедушка! — улыбается Арсений.

Число коллективцев увеличилось вдвое. Прибавилось и число детей. Часть рабочих кончала обмолот, пахала под пары, другая часть строила школу.

С утра до темной ночи муравейником кишел коллективский двор.

В сарае пыхтела машина. Электрический фонарь лил на выметенный двор желтые волны света, и кособокий месяц, повиснувший над Качаловкой, бледнел от электричества; он казался теперь зеленоватым, маленьким и ненужным.

Анна вторую неделю работала в очереди на скотном дворе. Вместе с шестью другими бабами выдаивала коров, отбивала телят и шла спать. Сон приходил не скоро — ворочалась, прислушивалась к ровному дыханию Арсения, думала о прошлом и о своей теперешней жизни в коллективе.

* * *

С утра небо затянулось густой пеленой сизых туч. Погромыхивал гром. В леваде галдели грачи, шумели вербы; около дома в палисаднике дурманно пахло цветом собачьей бесилы, никла к земле остролистая крапива. За крышей сарая по небу ящерицей скользнула молния, бабахнул гром, дождь дробно затопотал по крыше, ветром скрутило во дворе бурый столбище пыли, хлопнула оторванная вихрем ставня, и по лужам, выбивая пенистые пузыри, заплясал буйный июльский ливень.

Анна, накинув платок, выбежала во двор снять сушившееся белье. Мокрый ветер метался по двору, хлестал в лицо. Добежала Анна до амбара, и вдруг над самой головой гулко треснул гром, дробным грохотом рассыпался где-то за Качаловкой. Анна испуганно присела, по привычке перекрестилась и зашептала слова молитвы, а когда привстала и обернулась назад,— то увидала возле раскрытых ворот подводу и человека в дождевом плаще. Человек смеялся, перегибаясь назад и ощеряя белые зубы. Сквозь ветер крикнул Анне:

— Ты что же, молодка, пророка Ильи испугалась?

Анна подобрала юбку; снимая белье, крикнула сердито:

— Зубы-то нечего на продажу выставлять! Никто не купит!

Человек в дождевом плаще, оскользаясь, подошел к Анне, сказал с усмешкой:

— Ты, видно, сердитая, а серчаешь без толку!.. Разве от молнии крестом спасаются? Эх ты, а еще в коллективе живешь!.. — сказал и снова съежил губы в усмешку.

И вот этой обидной усмешкой словно обжег Анну. Стыдно ей стало чего-то. Ответила, будто оправдываясь:

— Я тут недавно живу...

— Коли недавно, это еще ничего! — И пошел на крыльцо, помахивая снятым с головы картузом.

Анна наспех поснимала белье. Рысью в дом. Вошла в комнату. Арсений, сидевший рядом с человеком в плаще, сказал:

— Вот приехал к нам учитель из города. Будет учить всех, какие неграмотные.

Учитель глянул светлыми улыбчивыми глазами, Анна вновь почувствовала стыдливую неловкость и, положив белье, вышла.

Вечером, перед ужином, Арсений сказал:

— Завтра, после обеда, иди грамоте учись. Я и тебя записал. Всего у нас неграмотных двадцать душ. Заниматься будете в клубе.

— Мне совестно, Арсюша... В годах ведь я.

— Неграмотной-то совестнее быть!..

На другой день пошла Анна в клуб. За длинным столом сидят плотно. Дед Артем рот раззявил, а на лбу — пот. Тетка Дарья отложила вязанье, тоже слушает.

Учитель говорит что-то и мелом рисует на школьной доске здоровенную букву.

Все покосились на скрип двери и опять слегли над столом. Тихонько прошла Анна к окну и села на край скамьи. Сначала было чудно́, хоронила от других улыбку; на другой день слушала внимательней и уже упрямо выводила на листе бумаги кособокую и сутулую букву «В».

После — тянуло в клуб; спешила поскорее пообедать и чуть не рысью по коридору — с букварем под мышкой. За столом теснее стало сидеть — прибавилось учеников. Дед Артем вполголоса ругается и, расставив локти, спихивает тетку Дарью на самый край. С обеда до сумерек в клубе — шепот и сдавленное гудение голосов.

Под клуб заняли просторную, в шесть окон комнату. У стены стоит стол, обитый красным ситцем, в углу портреты и знамена.

Дед Артем все-таки выжил со скамьи тетку Дарью. Перешла она от стола на подоконник. В комнате жарко, в окна засматривает любопытное солнце. На стекле бьется

и жужжит цветастая муха. Тишина. Дед Артем мусолит огрызок карандаша, пишет, криво раззявив рот. Стиснули Анну, толкают в бок. Рядом с Анной — Марфа, у нее четверо детишек. Знает она, что в детских яслях настоящий за ними догляд, а поэтому спокойно ползает глазами по букварю, пот ядреными горошинами капает у нее с носа на верхнюю губу; рукавом смахнет, иногда и языком слижет и снова шевелит губами, отмахиваясь от въедливых мух.

Чаще постукивает сердце у Анны. Нынче первый раз читает она по целому слову. Сложит одну букву, другую, третью, и из непонятных прежде загогулин образуется слово. Толкнула в бок соседку:

— Гляди, получается «хле-бо-роб».

Учитель стукнул по доске мелом.

— Тише! Про себя читайте! А ну, дедушка Артем, прочитай нам сегодняшний урок!

Дед ладонями крепко прижал к столу букварь, откашлялся.

— На-ша... ка-ша...

Марфа не утерпела, фыркнула в кулак.

Дед злобно покосился на нее.

— На-ша... ка-ша... хо-ро-ша... — начал снова. Прочитал и руками развел: — Скажите на милость, как оно выходит!

Переворачивая страницу, шепнул Марфе:

— Нет, бабонька, стар я становлюсь!.. Молодым был, бывало, три посада цепом обмолочу и в ус не дую, а теперя, видишь, прочел и уморился. Одышка душит, будто воз на гору вывез!

* * *

Втянулась Анна в работу. Понедельно работала то на кухне, то около скотины. На гумне постукивала молотилка, суетились рабочие. Арсений, присыпанный хлебными остьями и пылью, клал скирд; в полдень прибежал на кухню, крикнул Анне:

— Ты поздоровше, Анна, иди подсоби на гумне, а тебя пущай заменит Марфа Игнатовна.

Помогая Анне влезть на скирд, шлепнул ее по спине, засмеялся:

— Ну, толстуха, успевай принимать!.. — и сажал на вилы вороха обмолоченной духовитой соломы, напруживаясь, поднимал вверх, Анна принимала. Сначала по колена,

потом по пояс засыпал ее Арсений соломой; глянул, смеясь, снизу вверх, крикнул:

— Даешь работу! Эй ты, там, на скирду!.. Раззяву ловишь?..

* * *

В постоянной работе глохла, давностью затягивалась боль у Анны. Перестала думать о том, как вернется первый муж и что будет дальше... Короткой зарницей мелькнуло лето... Осень ссутулилась возле коллективских ворот. Утрами, словно выпущенный табун жеребят, взбрыкивая, бежали детишки в школу.

И вот днем осенним, морозным и паутинистым, спозаранку как-то, взошел Александр — муж Анны — на крыльцо, от собак отмахиваясь веткой орешника. Жестко постукивая каблуками, прошел по крыльцу, дверь отворил и стал у притолоки, не здороваясь, высокий, черный, в шинели приношенной. Сказал просто и коротко:

— Я пришел за тобой, Анна. Собирайся!

Анна забегала от сундука к кровати, негнущимися пальцами хватала то одно, то другое; сдернула с вешалки платок зимний, тяжело присела, переводя взгляд с Арсения на мужа, потом, с трудом ворочая губами, сказала:

— Не пойду!

— Не пойдешь?.. Посмотрим!.. — Улыбнулся Александр криво, пожал плечами и вышел. Осторожно и плотно притворил за собою дверь.

За осень, долгую и сумную, чаще хворала Анна, желтизной блекла, то ли от хворости, то ли от думок. В субботу вечером подоила Анна с бабами коров, телят загнала в закут, недосчиталась одного и пошла искать, через леваду в степь, мимо ветряка, задремавшего в тумане. На старом, кинутом кладбище, промеж крестов, обросших мхом, и затхлых, осевших могил, пасся рябенький коллективный телок. Приглядываясь в густеющей темноте, погнала домой. До канавы дошла и села, руки к груди прижимая. Услыхала рядом с вызванивающим сердцем стук и возню... Тяжело поднялась и пошла, улыбаясь краешками губ устало и выжидательно.

Оголился сад, под макушками тополей мечется ветер, скупо стелет под ноги кумачовые листья. Дошла до беседки, увидала, как из тернов вышел кто-то и стал, перегородив дорогу.

— Анна, ты?

По голосу узнала Александра. Подошел, горбатясь, руки растопыривая.

— Значит, забыла про то, как шесть лет вместе жили?.. Совесть-то всю в солдатках порастрепала? Эх ты, хлюстанка!

Думала Анна, что вот сейчас повалит наземь, будет бить коваными солдатскими ботинками, как в то время, когда жили вместе, но Александр неожиданно стал на колени, в сырую пахучую грязь, глухо сказал, протягивая вперед руки:

— Аннушка, пожалей!.. Я ли тебя не кохал? Я ли с тобой не нянчился, будто с малым дитем?.. Помнишь, бывало, мать родную словом черным обижал, когда зачинала она тебя ругать. Аль забыта наша любовь? А я шел из-за границев, одну думку имел: тебя увидать... А ты... Эх!..

Тяжело привстал, выпрямился и пошел по тернам, не оглядываясь. На повороте обернулся назад, крикнул хрипло:

— Н-но попомни мое слово!.. Не вернешься ко мне, не бросишь свово хахаля — худого наделаю я!..

Постояла Анна. В середке змеей жалость греется к нему, вот к этому, с каким шесть лет жила под одной крышей... С той поры и пошло. Чаще задумывалась Анна, вспоминая прошлое, не хотела ворошить в памяти дни разладов, когда бил ее муж смертным боем, а вспоминала только светлое, радостью окропленное, и от этого сердце набухало теплотой к прошлому и к Александру, а образ Арсения меркнул туманом, уходил куда-то назад...

Не узнавал Арсений в ней прежнюю Анну, нелюдимей с ним стала, назад перегнувшись и выпятив живот, молчком ходила по комнатам, баб сторонилась, и все чаще ловил на себе Арсений взгляд ее, ненавидящий и горький.

* * *

В полночь на степном гумне близ Авдюшкина лога сгорели три приклада коллективского сена. После первых кочетов к Арсению в одних исподниках прибежал из флигеля чеботарь Митроха, загремел в измалеванное морозом окно:

— Подымайтесь!.. Сено горит... Поджог!

Не одеваясь, выскочил Арсений на крыльцо, глянул через чубатые вишняки в степь и, зубов не разжимая, крепко выругался. За бугром, над полотнищем голубого

снега, сгибаясь под ветром, до самого месяца вскидывался багровый столб. Дед Артем вывел из конюшни кобыленку, обротал ее, животом навалился на острую хребтину, кряхтя перекинул ноги и охлюнкой поскакал к пожару. Проезжая мимо крыльца, крикнул Арсению:

— По злобе это!.. Чалушка моя, скотинка... С голоду она теперь погибнет!.. Завязывай хвосты кругом и выгоняй с базу!..

* * *

Зарею пошел Арсений на пожарище. Вокруг вороха дымной золы курилась раздетая земля, доверчиво высматривали зеленые былки.

Присел Арсений на корточки, вгляделся: на запотевшей земле, на талом снегу вылегли следы кованых английских ботинок, черными рябинами чернели ямки, вдавленные шляпками гвоздей. Закурил Арсений, вглядываясь в стежку, завязанную по степи путаными узлами, зашагал к Качаловке. Следы завивались петлями, пропадали; оскользаясь, скребли ледок над буераком,— и по людскому следу, как по звериному, уверенно молча шел Арсений. У крайнего гумна, у плетня Александрова, пропали следы... Крякнул Арсений, перекинул отцовскую централку с плеча на плечо, направился по дороге к коллективу.

* * *

Бабка-повитуха шлепнула рукой по скользкому тельцу, обмывая в цибарке руки, крикнула за перегородку:

— Слышь, Арсений, коммуненка баба родила!.. Поди, крестить не будешь?..

Молча раздвинул Арсений ситцевый полог, из-под закровяненного одеяла глянула посинелая Анна на него ненавидящими глазами, зашипела, глотая слезы:

— Уйди, нелюбый!.. Глазыньки мои на тебя не глядели бы!..

Отвернулась к стене и заплакала.

Лежала жизнь ровная, как набитый землею шлях, а теперь стынет в горле соленый ком и горе сердце Арсения берет волчьей хваткой.

Дня через два в клуню пошел Арсений, домолачивать остатки проса. Провозились с двигателем до темного, пока

пустили — смерклось, за темным ворохом тополей прижухла ночь.

— Арсений Андреевич, выдь на час!..

Вышел. Возле дощатой стены увидел Анну, закутанную в шаль.

— Ты чего, Нюра?

В голосе, чужом и хриплом, не узнал голоса жены:

— Христом-богом прошу... Пусти меня к мужу!.. Кличет меня... Говорит, возьму с дитем... А ты, Арсений Андреевич, лихом не помни и не держи меня!.. Все одно уйду, не люб ты мне больше!

— Допрежь выкорми дитя, посля иди, неволить не стану... А сына тебе не отдам! Я за Советскую власть четыре года сражался, израненный весь, муж твой — кадет... от Врангеля пришел... Вырастет мой парнишка, батрачить на него будет... Не хочу!..

Подошла Анна вплотную, жарко дохнула в лицо Арсению:

— Не дашь дитя?

— Нет!..

— Не дашь?!

Злобно вспухло у Арсения сердце, в первый раз за все время житья с Анной сжал кулак, ударить хотел промеж глаз, горевших ненавистью к нему, но сдержался, сказал глухо:

— Гляди, Анна!..

* * *

С вечеру, после ужина, покормила Анна ребенка грудью и, накинув платок, вышла во двор. Долго не возвращалась. Арсений, угнувшись над лавкой, чинил хомут. Услышал, как скрипнула дверь. Не поворачивая головы, по шагам узнал Анну. Прошла к люльке, переменила пеленки и молча легла спать Лег и Арсений. Не спал, ворочался, слышал отрывистое дыхание жены и неровные удары сердца. В полночь уснул. Удушьем навалился сон... Не слыхал, как после первых кочетов кошкою слезла с кровати Анна, не зажигая огня, оделась, закутала в платок дитя и вышла, не скрипнув дверью.

* * *

Второй месяц живет Анна у Александра. Попервам — пугливая радость, иногда лишь потаенными слезами проса-

чивалась жалость по привольному житью в коллективе. Потом злобное ворчание свекра:

— Потаскуху привел... Не воняло в нашей хате коммунячьим духом... Дармоедку с нахаленком принял!.. Гнал бы по шеям!..

Александр был ласковым только в первые дни, а за днями, скрашенными лаской, черной чередой пошли дни непосильной работы. Запряг Анну муж в хозяйство, сам все чаще уходил на край поселка, к Лушке-самогонщице, приходил оттуда пьяный, блевотиной расписывал стены и пол. До рассвета просиживал, развалясь на лавке, со сдвинутой на затылок папахой, гундосил, отрыгивая самогоном и самодовольно покручивая усы:

— Ты что собою представляешь, Анна? Одну необразованность, темноту. Мы-то повидали свет, в заграницах побывали и знаем благородное обхождение!.. По-настоящему мне рази такую, как ты, в жены надо?.. Пардон-с... За меня бы любая генеральская дочка пошла!.. Бывало, в офи... да что там и рассуждать!.. Все одно ты не поймешь!.. Красные сволочи, побывали бы в заграницах, вот там дивствительно люди!..

Засыпал тут же на лавке. Утром, проснувшись, сипло орал:

— Же-на!.. Сыми сапоги!.. Ты, подлая, должна меня уважать за то, что кормлю тебя с твоим щененком!.. Чего ж ты хнычешь?.. Плетку выпрашиваешь?.. Гляди, а то я скоро!..

Талым и пасмурным февральским днем в оконце Александровой хаты постучался квартальный.

— Хозяева дома?

— Заходи, дома.

Вошел, положил на сундук изгрызенный собаками костыль, достал из-за пазухи замасленный лист и бережно разгладил его на столе.

— На собрание чтоб в момент шли!.. С вашим братом иначе никак невозможно, вот, под роспись подгоняю... Распишись фамилием!..

Подошла Анна к столу, расписалась на листе квартального. Муж удивленно взметнул бровями:

— Ты когда же грамоте выучилась?

— В коллективе.

Смолчал Александр, притворил за квартальным дверь, сказал строго:

— Я пойду послухаю брехни советские, а ты скотину убери, Анна. Да просяную солому не тягай, догляжу — морду побью!.. Завычку какую взяла... Зимы ишо два месяца, а ты половину прикладки потравила!

Посапливая, застегивал полушубок, смотрел из-под лохматых черных бровей скупым хозяйским взглядом... Анна помялась возле печки, боком подошла к мужу.

— Саня... Может, и я бы пошла... на собрание?

— Ку-да-а?

— На собрание.

— Это зачем?!

— Послушать.

Медленно ползет по щекам Александра густая краска, дрожат концы губ, а правая рука тянется к стенке, лапает плеть, висящую над кроватью.

— Ты что же, сука подзаборная, мужа на весь поселок осрамить хочешь?.. Ты когда же выкинешь из головы коммунические ухватки? — Скрипнул зубами и, сжимая кулаки, шагнул к Анне... — Ты, у меня!.. Я тебя, распротак твою мать!.. Чтоб не пикнула!

— Санюшка!.. Бабы ить ходют на собрание!..

— Молчи... стервюга! Ты у меня моду свою не заводи! Ходят на собрание таковские, у каких мужьев нету, какие хвосты по ветру трепают!.. Ишь, что выдумала: на собрание!..

Иглою кольнула обида Анну. Побледнела, сказала хриплым, дрогнувшим голосом:

— Ты меня и за человека не считаешь?

— Кобыла не лошадь, баба не человек!

— А в коллективе...

— Ты со своим ублюдком лопаешь не коллективский хлеб, а мой!.. На моей шее сидишь, меня и слухай! — крикнул Александр.

Но Анна, чувствуя, как бледнеют ее щеки, а кровь, убегая к сердцу, зноем полощет жилы, выговорила сквозь стиснутые зубы:

— Ты сам меня уговаривал, жалеть сулил! Где же твои посулы?

— А вот где! — прохрипел Александр и, размахнувшись, ударил ее кулаком в грудь.

Анна качнулась, вскрикнула, хотела поймать руку мужа, но тот, хрипло матюкаясь, ухватил ее за волосы,

ногою с силой ударил в живот. Грузно упала Анна на пол, раскрытым ртом ловила воздух, задыхалась от жгучего удушья. И уже равнодушно ощущала тупую боль побоев и словно сквозь редкую пленку тумана видела над собою багровое, перекошенное лицо мужа.

— Вот, вот, на́ тебе!.. Не хочешь!.. Ага, шкуреха... Ты у меня запляшешь на иные лады!.. Получай!.. Получай!..

С каждым ударом, падавшим на неподвижное, согнутое на полу тело жены, сильнее злобою закипал Александр, бил размеренней, старался попасть ногою в живот, грудь, в закрытое руками лицо. Бил до тех пор, пока не взмокла по́том рубаха и устали ноги, потом надел папаху, сплюнул и вышел во двор, крепко хлопнув дверью.

На улице, возле ворот, постоял, подумал и через поваленные плетни соседского огорода побрел к Лушке-самогонщице.

Анна пролежала на полу до вечера. Перед сумерками в горницу вошел свекор, буркнул, трогая ее носком сапога:

— Ну, вставай!.. Знаем и без этого, что притворяться горазда... Чуть тронул пальцем муж, она уж и вытянулась!.. Побеги в Совет, пожалуйся... Вставай, что ли?.. Скотину-то кто за тебя убирать станет? Аль работника нанять прикажешь? — Пошел в кухню, шаркая ногами по земляному полу.— Жрать она за четверых управляется, а работать... Эх, совесть-то у людей!.. Ты ей плюй в глаза — скажет: божья роса!..

Оделся свекор, пошел убирать скотину. В люльке завозился, заплакал ребенок. Анна очнулась, привстала на колени, выплюнула из разбитого рта песок, смоченный слюной и кровью, сказала, трудно шевеля губами:

— Головенка ты моя бедная...

За Качаловкой на бугре, расписанном плешивыми круговинами талого снега, ветер встречал ночь. По рыхлым ноздреватым сугробам шли в поселок зайцы зоревать. В Качаловке реденькие желтенькие пятнышки огней. Ветер стелет по улицам духовитую кизячную вонь.

Пришел Александр домой перед ужином. Упал на кровать, прохрипел:

— Анна!.. Са-по-ги... — и уснул, храпя, смачивая подушку клейкими слюнями.

Анна дождалась, пока угомонился свекор на печке, схватила ребенка и выбежала во двор. Постояла, прислушиваясь к торопливому выстукиванию сердца. Над Качаловкой шагала ночь. С крыш капало, курился сложенный

в кучи навоз. Снег под ногами сырой и хлюпкий. Прижимая к груди ребенка, спотыкаясь, зашагала Анна по проулку к качаловскому пруду, синевшему грязной голубизною льда. Возле пруда несжатый камыш скрежещет под ветром и надменно кивает Анне лохматыми головками.

Подошла к проруби. Черную воду затянуло незастаревшим ледком, около проруби сметенные в кучу осколки льда и примерзший бычий помет.

Крепче прижимая к груди ребенка, глянула Анна в черную раззявленную пасть воды, стала на колени, но вдруг — неожиданно и глухо под пеленками и одеялом — заплакал ребенок. Стыд горячей волною плеснулся Анне в лицо. Вскочила и, не оглядываясь, побежала к коллективу. Вот они, тесаные пожелтевшие за зиму ворота, знакомый родной гул пыхтящего в сарае динамо...

Качаясь, взбежала по крыльцу, скрипнули двери коридора, сердце наперебой с ногами отстукивает шаги-удары. Третья дверь налево. Постучала. Тишина. Постучала сильнее. Кто-то идет к двери. Отворил. Глянула мутнеющими глазами Анна, увидала пожелтевшего, худого Арсения и обессиленно прислонилась к косяку.

Арсений на руках донес ее до кровати, распеленал и положил ребенка в осиротевшую за два месяца люльку, сбегал на кухню за кипяченым молоком и, целуя пухлые ножонки сына и мокрое от слез лицо Анны, говорил:

— Я поэтому и не шел к тебе... Знал, что ты вернешься в коллектив, и вернешься скоро!..

1925

ОБИДА

По степи, приминая низкорослый, нерадостный хлеб, плыл с востока горячий суховей. Небо мертвенно чернело, горели травы, по шляхам поземкой текла седая пыль, трескалась выжженная солнцем земляная кора, и трещины, обугленные и глубокие, как на губах умирающего от жажды человека, кровоточили глубинными солеными запахами земли.

Железными копытами прошелся по хлебам шагавший с Черноморья неурожай.

В хуторе Дубровинском жили люди до но́ви. Ждали, томились, глядя на застекленную синь неба, на иглистое солнце, похожее на усатый колос пшеницы-гирьки в колючем ободе усиков-лучей.

Надежда выгорела вместе с хлебом.

В августе начали обдирать кору с караичей и дубов, мололи и ели, примешивая на лоток дубового теста пригоршню просяной муки.

Перед покровом Степан, падая от истощения, пригнал быков на свой участок земли, запряг их в плуг, в му́ке скаля зубы, кусая синюю кайму зачерствелых губ, молча взялся за чапиги[1].

Четыре десятины пахал неделю. Кривые и страшные выложились борозды, мелкие, с коричневыми шмотками огрехов, словно не лемехи резали затравевшую пашню, а чьи-то скрюченные, слабые пальцы...

Оттого Степан шел с поклоном к вероломной земле, что была, кроме старухи, семья — восемь ртов, оставшихся от сына, убитого в гражданскую войну, а работников — сам с пятью десятками лет, повиснувших на сутулой спине. Отпахался — продал вторую пару быков. Не продал, а подарил доброму человеку за сорок пудов сорного хлеба.

И вот тут-то вскоре после покрова объявил председатель хуторского Совета:

— Семенную ссуду выдадут. Заосеняет, подойдет с центра бумага — и на станцию. Кто не пахал — паши! Хучь зубами грызи, а подымай землю.

— Обман. Не дадут... — сопели казаки.

— Предписание есть. Все, как следовает, без хитростев.

— С нас тянут, а давать... — томился в тоске и радости Степан.

И верил, и не верил.

Сошла осень. Засыпало хутор снегом. На обезлюдевших огородах легли заячьи стежки.

— Что же, семенов дадут?.. — надоедал Степан председателю.

Тот озлобленно махал рукой:

— Не вяжись, Степан Прокофич! Нету покеда распоряженья.

— И не будет! Не жди!.. Надо было народ от смерти отвесть — обнадежили... Кинули, как собаке мосол.— И люто тряс мослоковатыми кулаками: — Пропали они,

---

[1] Чапиги — поручни у плуга.

с-с-су-у-укины сыны!.. Хлеб в городах жрут, мать ихня...

— Не выражайся, Прокофич. Пришкребу за слова!

— Эй!.. — махал Степан рукой и, не договаривая, уносил из Совета большое свое костистое тело. Был он похож на перехворавшего быка: из-под излатанного чекменя перли наружу крупные костяки лопаток, на длинных, высохших голенях болтались изорванные с лампасами шаровары. Зеленая проседь запорошила рыжую его бороду, глядел голодным, задичалым взглядом в сторону, стыдился за свое непомерно крупное, высохшее в палку тело. Приходил домой, падал на лавку.

— Скотину убери. Лег, сурчина! — липла жена.

— Варька намечет.

— Ей на баз не в чем выйтить.

— Нехай мои валенки обувает.

Подросток Варька стягивала с деда валенки и шла убирать скотину, а он лежал, косо расставив длинные босые ступни, часто дергал веками закрытых глаз, вздыхал, кряхтел, думал тягучее и безрадостное. А за обедом садился в передний угол, высился над столом ребристой громадиной, цепко оглядывал усыпавших лавки внуков. Замечал, что самый младший, трехлеток Тимошка, кривит душой — мучительно улыбаясь, старается поймать в чашке уплывающий кусочек картошки,— и звонко стукал его по лбу ложкой.

— Не вы-лав-ли-вай!..

В хуторе мерли люди, источенные, как дерево червем, дубовым хлебом. И черная будила Степана по ночам тоска: вспаханное обсеменить нечем.

Скот обесценел. За корову давали пять — восемь пудов жита с озадками. На святках опять заговорили об отпущенной будто бы семенной ссуде, и опять заглох слух. Заглох, как летник в степи глубокой осенью. Ожил только на провесне. Вечером на собрании в церковной караулке председатель объявил:

— Получена бумага.— Помял пальцами горло, кончил: — Могем ехать за хлебом хучь завтра. Об нас, то же самое, не забывают... — и осекся от волнения.

* * *

До станции от хутора полтораста верст. Разбились на партии с первой же ночевки. На лошадях уехали вперед, бычиные подводы рассыпались длинной валкой. Степан

ехал с соседом Афонькой — молодым, москлявым казаком. Дорога легла через тавричанские слободы. Гребни верст в тридцать — сорок одолевали только к ночи. Тощие от бескормицы быки шли, скупо отмеряя шаги, прислоняясь ребристыми боками к вия́м[1].

Степан всю дорогу шел пешком, берег бычачью силу для обратного пути. С последней ночевки в Ольховом Рогу выехали, дождавшись месяца, и к полдню дотянулись до станции.

Возле элеватора с визгом дрались распряженные лошади, ревели быки, плелись многоголосые крики.

К вечеру из ворот элеваторного двора выбежал запыленный весовщик, крикнул, оглядывая возы:

— Дубровцы, подъезжай! Председатель где?

— Здеся,— по-служивски гаркнул председатель.

— Ордер при вас?

— Так точно, при нас.

Пока приехавшие раньше запрягали, Степан с Афонькой пробились к самым воротам. Поперек дороги большой черный казак, в атаманской фуражке и накинутом поверх зипуна башлыке, упрашивал мотавшего головой быка:

— Ше, ше, чертяка... Тпру... Тпру, го-о-оф... Стой!..

— Посторонись, станишник,— попросил Степан.

— Небось объедешь.

— Иде ж тут объедешь? Ить обломаемся!

— Сани оттяни! — крикнул Афонька.— Стал вспоперек путя, как чирьяк на причинном месте... Эй, дядюля!..

Атаманец[2] здоровенной кулачиной саданул норовистого быка, и тот, выкатывая кровяные глаза, просунул морщинистую шею в ярмо.

— Подъезжай... Подъезжа-а-ай!.. — орал весовщик, размахивая ордером у дверей весовой.

Степан направил быков рысью и первый подкатил к весовой.

По обшитому железом рукаву тек в мешки золотой, шуршащий поток пшеницы. Степан держал края мешка, задыхался от пахучей теплой пыли и радости, с удивлением глядел на бесстрастное лицо весовщика, равнодушно хрустевшего сапогами по рассыпанному зерну.

— Свешено. Двадцать один пуд.

---

[1] Виё — дышло в бычьей запряжке.

[2] Атаманец — казак, служивший в лейб-гвардии Атаманском полку.

Попробовал Степан, как раньше, тряхнув лопатками, вскинуть пятипудовый чувал повыше и неожиданно почувствовал неудержимую дрожь в коленях, качнулся, сделал два неверных, ковыляющих шага и прислонился к дверям.

— Проходи!.. Застрял!.. — торопили толпившиеся у выхода казаки.

— Отошшал, дядя.

— У него уж порохня отсырела.

— Держись за землю, а то упадешь!

— Го-го-го-го!..

— Кидай мешок, я подыму, мне сгодится.

Атаманец, запрягавший у ворот быков, пособил Степану перетаскать на воз мешки, и Степан, дождавшись Афоньку, выехал на площадь. Смеркалось.

— Иди просись ночевать,— предложил иззябший Афонька.

— А ты что ж?

— У тебя, Прокофич, борода. Ты собою наглядней.

Улицу прошел Степан — и ни в одном дворе не пустили.

— Вас тут каждый день бывает.

— Негде. Тесно.

— Переночуете и на улице.

Степан, с трудом ворочая одубевшими губами, упрашивал:

— Пустите, аль место перележим? Неуж креста на вас нету?..

— Ноне без крестов живем, с жестянками.

— Проходи, дед,— отмахивались от него.

Степан вышел из крайнего двора и ожесточенно стукнул кнутом неповинного быка.

— Вот, Афанасий, люди... Ночевать, видно, под забором.

— Запалить ба их с четырех концов! Бирюки, а не люди!.. У них снегу середь зимы не выпросишь!

На элеваторной площади распрягли быков и под рев паровозных гудков легли на санях, набитых мешками. Площадь гомонила. Молодые казаки, собравшись на крайнем возу, складно играли песни. Сиповатым, но сильным голосом один какой-то заводил:

Ехали казаченьки
Да со службы домой.

И огрубелые от ветра и стужи голоса подхватывали:

На плечах погоники,
На грудях кресты-ы-ы...

Степан, прислушиваясь к песне, недоверчиво щупал завязанные чубы тугих мешков, и перед закрытыми глазами его стлалась вспаханная черная деляна, там, у Атаманова кургана, и он, Степан, мечущий из горсти полновесное семя...

* * *

В полночь с севера подул жесткий ветер. На крышах вагонов, прибывших из Москвы, хрусталем отсвечивал снег, а возле путей оголенная ростепелью земля чернела, пахла осенью, первыми заморозками, стынущим шлаком.

Над городом мутно-розовой квадратной глыбой висел элеватор. У дощатого забора понуро жались быки, на площади ветер вихрил морозную пыль, застревая в телеграфных проводах, скулил пронзительно и тонко.

Под конец ночи, когда дышло Большой Медведицы воткнулось в плоскую крышу элеватора, Степан проснулся. Поворочал онемевшими ногами и встал с саней. Около лежали, тяжело вздыхая, обыневшие быки, взвороченными копнами чернели возы, зябко горбилась бездомная собака.

Степан разбудил Афоньку. Запрягли и в густеющей предрассветной темноте выехали за город.

Поднялись за гору. Над городом взвыл паровоз. Афонька, шагавший рядом со Степаном, махнул назад кнутовищем.

— Ну и ржет, проклятый жеребец! Он на себе по скольки тыщев пудов тягает и хучь бы крякнул. А тут навалил двадцать пудов и страдай пешком всю дорогу. У тебя хучь быки, а у меня ить справа какая: бычок-третяк да корова. Ты ее кнутом, а она, подлюка, хвост на сторону и тебя же норовит обпакостить... Ходи, барышня городская!..— Вывернув опухшие, в желчной мути глаза, он с силой хлестнул кнутом корову и упал в сани, высоко задирая ноги.

В полдень доехали до Ольхового Рога. По улицам пестрел празднично одетый народ. Тут только вспомнил Степан, что нынче воскресенье. Доехали до церкви и стали.

— Ну, на бугор не выберемся... Ишь дорога голая.

— Почти что...— согласился Афонька.— Пески, снегу нет.

— Придется подnанять, чтоб вывезли до гребня на бричке.

— Хлебом заплотим, говори.

На сложенных возле двора слегах в праздничной дреме

человек восемь тавричан лузгали семечки. Степан подошел и снял косматую папаху.

— Здорово живете, добрые люди.

— Здравствуй, соби,— ответил самый старший, с проседью в бороде.

— А что, не найметесь вывезть нам кладу на бугор? Пески тута у вас, снегу на ма́ле, а мы вот на санях забились...

— Ни,— коротко кинул тавричанин, усыпая бороду шелухой.

— Мы заплотим. Ради Христа, вызвольте!

— Коней нема́.

— Что ж, люди добрые, аль нам пропадать? — взмолился Степан, разводя руками.

— Та мы не могим знать,— равнодушно откликнулся другой, в заячьем треухе.

Помолчали. Подошел Афонька, выгибаясь в поклоне.

— Сделайте уваженье!

— Та ни. Це треба худобу морыть.

Молодой рослый тавричанин в добротном морщеном полушубке подошел к Степану и хлопнул его по плечу:

— Вот шо, дядько: давайте з вами борка́ встроим. Колы вы мине придолиете — пидвезу на бугор, а ни — так ни. Ну, як? — Серые, круглые глаза его смеялись, плавали в масленом румянце щек.

Степан оглядел улыбавшихся тавричан и надел папаху.

— Что ж, братцы, значит, надсмешка... Чужая беда, видно, за сердце не кусает.

— Давай спробуем! — смеялся молодой тавричанин, играя из-под смушковой шапки бровями.

Степан скинул рукавицы и оглядел широкие плечи противника, распиравшие полушубок.

— Берись!

— Оце́ — дило!..

Взялись на поясах. Просовывая пальцы под красный Степанов кушак, весело и легко дыша, тавричанин попросил:

— Пузо пидбери.

Медленно закружились, пытая силы. Степан, сузив глаза, выворачивал плечо, упираясь противнику в грудь. Тот далеко назад заносил ногу, подтягивал на себя Степана, ломал. Обошли круга три. Степан чувствовал, что молодой, сытый тавричанин его сильнее, и вел борьбу тоскливо, уверенный в исходе.

Решившись, пригнул колено левой ноги и рухнул навзничь, больно ударившись затылком о мерзлую кочку. Тавричанин, подкинутый Степановыми ногами, перелетел через него, грузно жмякнулся. Степан хотел вскочить по-молодому, как когда-то, но ноги отказались, а на него уж навалился вскочивший тавричанин, вдавил ему лопатки в выщербленный лошадиными копытами снег на дороге.

Их обступили. Загоготали. Захлопали рукавицами. Степан, выколачивая измазанную папаху, вздохнул:

— Десяток годков скинуть ба, я б тебя повозил...

— Но, дядько, так и быть, пидвезу вас на бугор. Ты заробил соби,— задыхаясь, довольно смеялся тавричанин.— Поняйте ось к тому двору.

Хлеб свалили на широкую бричку, и тавричанин, боровшийся со Степаном, щелкнул на тройку сытых лошадей щегольским кнутом.

— Поняйте сли́дом.

На бугре, верстах в четырех от слободы, хлеб перегрузили на сани. По дороге завиднелся снег, кое-где перерезанный перетяжками.

* * *

Тяжелая дорога вымотала быков. За санями по мерзлой земле захлюстанным бабьим подолом волочился сверкающий, притертый полозьями след.

До хутора оставалось верст тридцать. Степан предложил Афоньке:

— Давай ехать. Хучь ночью, а дотянем.

— Не из чего ночевать, корму клока нет, быков лишь томить.

К ночи доехали до Казенного леса. На небе, ясном и черном, сухо тлела, дымилась ядреная россыпь звезд. Морозило. Степан ехал впереди. Спустились в ложок. Впереди быков легла косая тень, следом вышел человек.

— Кто едет?

— С станции, дубровинские,— насторожился Степан и оглянулся на подходившего Афоньку.

— Стой!

— По какому праву?..

— Стой, тебе говорят!..

Небольшой, укутанный башлыком, подошел человек. Синел, поблескивал в перчатке вороненый наган.

— Шо везете?

— Хлеб семенной...— У Степана дрогнуло сердце, дрогнул голос. Кинув в сторону взгляд, увидел подъезжавшую сбоку бричку, запряженную четверкой. Человек в башлыке подошел к Степану вплотную, ткнул ему под папаху мерзлую, запотевшую сталь.

— Сгружай!..

— Что ж это?..— охнул Степан, обессиленно прислонясь к саням.

— Сгружай!..

От брички, скрипя сапогами, бежали двое.

— Стреляй его!..— крикнул один издали. Рукоять нагана рассекла край папахи и въелась Степану в висок. Он сполз на колени.

— Сгру-жа-а-ай! — осатанело орал, наклоняясь к нему, человек в башлыке и тыкал стволом нагана в зубы.

— Семенной хлеб... Братцы!.. Родненькие, братцы!.. А-а-а,— рыдал Степан и ползал на коленях, кровяня ладони о мерзлую колость дороги.

Афоньку первый, бежавший от брички, свалил с ног прикладом винтовки, кинул на него полсть от саней.

— Лежи, не зи́ркай!..

Бричка прогремела и стала около саней. Двое, кряхтя, кидали в нее мешки, третий в башлыке стоял над Степаном. Из-под нависших реденьких усов скалил щербатый, обыневший рот.

— Полсть возьми,— приказал четвертый, сидевший на козлах.

Быки легко стронули опорожненные сани, пошли по дороге, Афонька подошел к лежавшему ничком Степану.

— Вставай, уехали...

По целине, обочь дороги, немо цокотали колеса уезжавшей брички. Степан встал, глотнул набежавшую в рот кровь. Вдали чернела бричка. Немного погодя с перекатом сполз в ложок треск одинокого, на острастку, выстрела.

— Вот она какая судьбина... пала... — глухо уронил Афонька и, ломая в руках кнутовище, стенящим голосом крикнул: — Обидели!..

Степан поднялся с земли, взлохмаченный и страшный, медленно закружился в голубом леденистом свете месяца. Афонька, сгорбившись, глядел на него, и всплыло перед глазами: прошлой зимой застрелил на засаде волка, и тот, с картечью, застрявшей в размозженной глазнице, так же страшно кружился у гуменного плетня, стрял в рыхлом

снегу, приседая на задние ноги, умирая в немой, безголосой смерти...

* * *

На четвертой неделе поста хутор выехал сеять.

Степан сидел у крыльца, чертил хворостинкой отмякшую, вязкую землю, исступленно ласкал ее провалившимися в черное глазами...

Неделю ходил он, посеревший и немой. Семья, голосившая первые дни приезда, притихла, с тоской и страхом глядела на трясущуюся голову Степана, на обессилевшие его руки, бесцельно перебиравшие складки рыжей бороды. На страстной неделе в первый раз ушел он ночью к Атаманову кургану. Степь, выложенная серебряным лунным набором, курилась туманной марью. В прошлогоднем бурьяне истомно верещала необгулянная зайчиха, с шелестом прямилась трава-старюка, распираемая ростками молодняка. Низко тянулись редкие тучи, застили молодой месяц, и процеженные сквозь облачное решето лучи неслышно щупали квелые, сонные травы. Степан не дошел до своей земли сажен двадцати и стал под Атамановым курганом.

По ту сторону лежала вспаханная, обманутая им земля. Между бороздами ютился прораставший краснобыл, заплетала поднятый чернозем буйная повитель. Страшно было Степану выйти из-за кургана, взглянуть на черную, распластанную трупом пахоту. Постоял, опустив руки, шевеля пальцами, вздохнул и хрипом оборвал вздох...

С той поры почти каждую ночь уходил, никем не замеченный, из дома. Подходил к кургану и жесткой ладонью комкал на груди рубаху. А вспаханная деляна лежала за курганом мертвенно-черная, залохматевшая травами, и ветер сушил на ней комья пахоты и качал ветвистый донник...

* * *

Перед троицей начался степной покос. Степан сложился косить с Афонькой. Выехали в степь, и в первую же ночь ушли с попаса Степановы быки.

Искали сутки. Вдоль и поперек прошли станичный отвод, оглядели все яры и балки. Не осталось на погляд и следа бычиного. Степан к вечеру вернулся домой, накинул зипун и стал у двери, не поворачивая головы.

— Пойду в хохлачьи слободы. Ежели увели — туда.

— Сухариков... Сухариков бы на дорожку...— засуетилась старуха.

— Пойду,— поморщился Степан и вышел, широко размахивая костылем, ссекая метелки полыни.

За хутором повстречался с Афонькой.

— К хохлам, Прокофич?

— Туда.

— Ну, давай бог.

— Спаси Христос.

— Косилку в степе́ бросил, вернешься — тады пригоним! — крикнул Афонька вслед.

Степан, не оборачиваясь, махнул рукой. К полдню дошел до хутора Нижне-Яблоновского, завернул к полчанину[1]. Погоревали вместе, похлебал молока и тронулся дальше. По дороге люди встречались часто.

Степан останавливался, спрашивал:

— А что, не встревались вам быки? У одного рог сбитый, обое красной масти.

— Не было.

— Не бачили.

— Таких не примечали.

И Степан дальше разматывал серое ряднище дороги, постукивал костылем, потел, облизывая обветренные губы шершавым языком.

Уже перед вечером на развилке двух дорог догнал арбу с сеном. Наверху сидел без шапки желтоголовый, лет трех мальчуган. Лошадь вел мужчина в холстинных, измазанных косилочной мазью штанах и в рабочей соломенной шляпе. Степан поравнялся с ним.

— Здорово живете.

Рука с кнутом нехотя поднялась до широких полей соломенной шляпы.

— Не припало вам видеть быков...— начал Степан и осекся. Кровь загудела в висках, выбелив щеки, схлынула к сердцу: из-под соломенной шляпы — знакомое до жути лицо. То лицо, что белым полымем светилось в темноте бессонных ночей, неотступно маячило перед глазами... Из-под тенистых полей шляпы, не угадывая, равнодушно глядели на него усталые глаза, редкие, запаленные усы висели над полуоткрытыми губами, в желтом ряду обкуренных зубов чернела щербатина.

---

[1] Полчанин — сослуживец по полку.

— А-а-а-а... довелось свидеться!..

Под шляпой резко побелел сначала загорелый лоб, бледность медленно сползла на щеки, дошла до подбородка и рябью покрыла губы.

— Угадал?

— Шо вам... Шо вам надо?.. Зроду и не бачил!

— Нет?.. А зимой хлеб?.. Кто?..

— Нет... Не было... Обознались, мабуть...

Степан легко выдернул торчавшие в возу вилы-тройчатки и коротко перехватил держак. Тавричанин неожиданно сел у ног остановившейся потной лошади, в пыль положил ладони и глянул на Степана снизу вверх.

— Жинка померла у ме́не... Хлопчик вон остался...— ужасающе беспечным голосом сказал он, указывая на воз прыгающим пальцем.

— За что обидел? — весь дрожа, хрипел Степан.

Тавричанин тупо оглядел холстинные свои штаны и качнулся.

— Дидо, возьмить коняку... Нужда была... А? Возьмить коняку мово. Христа ради! Промеж нас будеть... Помиримось...— часто заговорил он, косноязыча и разгребая руками дорожную пыль.

— Обидел!.. Мертвая земля лежит!.. А?.. Голод приняли!.. Пухли от травы!.. А? — выкрикивал Степан, подступая все ближе.

— Похоронил жинку... в бабьей хворости была... Вот хлопчик... Третий год с пасхи... Прости, дидо!.. Сойдемся миром... Отдам хлеб...— в смертной тоске мотал тавричанин головою и уже несвязное болтал мертвенно деревеневший язык, застывая в судороге животного ужаса...

— Молись богу!..— выдохнул Степан и перекрестился.

— Постой! Погоди... Богом прошу!.. А хлопец?

— Возьму к себе... Не об нем душой болей!..

— Сено не свозил... Ох! Хозяйство сгибнеть... Та как же...

Степан занес вилы, на коротенький миг задержал их над головой и, чувствуя нарастающий гул в ушах, со стоном воткнул их в мягкое, забившееся на зубьях дрожью...

На пожелтевшее, строгое, прижатое к земле лицо кинул клок сена, потом влез на воз и взял на руки зарывшегося в сено мальчонка.

Пошел от воза петлястыми, пьяными шагами, направляясь к тлевшим на сугорье огням слободы. Прижимая к груди выгибавшегося в судороге мальчонка, шептал, сжимая кла́цающие зубы:

— Молчи, сынок! Цыц!.. Ну... молчи, а то бирюк возьмет. Молчи!..

А тот, закатывая глаза, рвался из рук, визжал в залитую голубыми сумерками, нерушимо спокойную степь:

— Тато!.. Та-то!.. Т-а-аато!..

1925 или 1926

СМЕРТНЫЙ ВРАГ

Оранжевое, негреющее солнце еще не скрылось за резко очерченной линией горизонта, а месяц, отливающий золотом в густой синеве закатного неба, уже уверенно полз с восхода и красил свежий снег сумеречной голубизной.

Из труб дым поднимался кудреватыми тающими столбами, в хуторе попахивало жженым бурьяном, золой. Крик ворон был сух и отчетлив. Из степи шла ночь, сгущая краски; и едва лишь село солнце, над колодезным журавлем повисла, мигая, звездочка, застенчивая и смущенная, как невеста на первых смотринах.

Поужинав, Ефим вышел на двор, плотнее запахнул приношенную шинель, поднял воротник и, ежась от холода, быстро зашагал по улице. Не доходя до старенькой школы, свернул в переулок и вошел в крайний двор. Отворил дверь в сенцы, прислушался — в хате гомонили и смеялись. Едва распахнул он дверь,— разговор смолк. Возле печки колыхался табачный дым, телок посреди хаты цедил на земляной пол тоненькую струйку, на скрип двери нехотя повернул лопоухую голову и отрывисто замычал.

— Здорово живете!

— Слава богу,— недружно ответили два голоса.

Ефим осторожно перешагнул лужу, ползущую из-под телка, и присел на лавку. Поворачиваясь к печке, где на корточках расположились курившие, спросил:

— Собрание не скоро?

— А вот как соберутся, народу мало,— ответил хозяин хаты и, шлепнув раскоряченного телка, присыпал песком мокрый пол.

Возле печки затушил цигарку Игнат Борщев и, цвиркнув сквозь зубы зеленоватой слюной, пошел и сел рядом с Ефимом.

— Ну, Ефим, быть тебе председателем! Мы уж тут мороковали про это,— насмешливо улыбнулся он, поглаживая бороду.

— Трошки подожду.

— Что так?

— Боюсь, не поладим.

— Как-нибудь... Парень ты подходящий, был в Красной Армии, из бедняцкого классу.

— Вам человек из своих нужен...

— Из каких это своих?

— А из таких, чтоб вашу руку одерживал. Чтоб таким, как ты, богатеям в глаза засматривал да под вашу дудочку приплясывал.

Игнат кашлянул и, сверкнув из-под папахи глазами, подмигнул сидевшим у печки.

— Почти что и так... Таких, как ты, нам и даром не надо!.. Кто против мира прет? Ефим! Кто народу, как кость, поперек горла становится? Ефим! Кто выслуживается перед беднотой? Опять же Ефим!..

— Перед кулаками выслуживаться не буду!

— Не просим!

Возле печки, выпустив облака дыма, сдержанно заговорил Влас Тимофеевич:

— Кулаков у нас в хуторе нет, а босяки есть... А тебя, Ефим, на выборную должность поставим. Вот, с весны скотину стеречь либо на бахчи.

Игнат, махая варежкой, поперхнулся смехом, у печки гоготали дружно и долго. Когда умолк смех, Игнат вытер обслюнявленную бороду и, хлопая побледневшего Ефима по плечу, заговорил:

— Так-то, Ефим, мы кулаки, такие-сякие, а как весна зайдет, вся твоя беднота, весь пролетарьят шапку с головы да ко мне же, к такому-сякому, с поклонцем: «Игнат Михалыч, вспаши десятинку! Игнат Михалыч, ради Христа, одолжи до нови мерку проса...» Зачем же идете-то? То-то и оно! Ты ему, сукину сыну, сделаешь уважение, а он заместо благодарности бац на тебя заявление: укрыл, мол, посев от обложения. А государству твому за что я должен платить? Коли нету в мошне, пущай под окнами ходит, авось кто и кинет!..

— Ты дал прошлой весной Дуньке Воробьевой меру проса? — спросил Ефим, судорожно кривя рот.

— Дал!

— А сколько она тебе за нее работала?

— Не твое дело! — резко оборвал Игнат.

— Все лето на твоем покосе гнула хрип. Ее девки пололи твои огороды!..— выкрикнул Ефим.

— А кто на все общество подавал заявление на укрытие посева? — заревел у печки Влас.

— Будете укрывать, и опять подам!

— Зажмем рот! Не дюже гавкнешь!

— Попомни, Ефим: кто мира не слушает, тот богу противник!

— Вас, бедноты,— рукав, а нас — шуба!

Ефим дрожащими руками скрутил цигарку, глядя исподлобья, усмехнулся.

— Нет, господа старики, ушло ваше время. Отцвели!.. Мы становили Советскую власть, и мы не позволим, чтоб бедноте наступали на горло! Не будет так, как в прошлом году, тогда вы сумели захватить себе чернозем, а нам всучили песчаник, а теперь ваша не пляшет. Мы у Советской власти не пасынки!..

Игнат, багровый и страшный, с изуродованным лбом, с изуродованным злобой лицом, поднял руку.

— Гляди, Ефим, не оступись!.. Поперек дороги не становись нам!.. Как жили, так и будем жить, а ты отойди в сторону!..

— Не отойду!

— Не отойдешь — уберем! С корнем выдернем, как поганую траву!.. Ты нам не друг и не хуторянин, ты — смертный враг, ты — бешеная собака!

Дверь распахнулась, и вместе с клубами пара в хату протиснулось человек двенадцать. Бабы крестились на иконы и отходили в сторону, казаки снимали папахи, крякая и обрывая с усов намерзшие сосульки. Через полчаса, когда народу набилось полная кухня и горница, председатель избирательной комиссии встал за столом, сказал привычным голосом:

— Общее собрание граждан хутора Подгорное считаю открытым. Прошу избрать президиум для ведения настоящего собрания.

* * *

В полночь, когда от табачного дыма нечем было дышать и лампа моргала и тухла, а бабы давились кашлем, секретарь собрания, глядя на бумагу полуопьяневшими глазами, выкрикнул:

— Оглашается список избранных в члены Совета! По большинству голосов избранными оказались: первый — Прохор Рвачев и второй — Ефим Озеров.

* * *

Ефим зашел в конюшню, подложил кобыле сена, и едва ступил на скрипевшее от мороза крыльцо, в сарае загорланил петух. По черному пологу неба приплясывали желтые крапинки звезд, Стожары тлели над самой головой. «Полночь»,— подумал Ефим, трогая щеколду. По сенцам, шаркая валенками, кто-то подошел к двери.

— Кто такое?

— Я, Маша. Отпирай скорее!

Ефим плотно прихлопнул за собой дверь и зажег спичку. Фитиль, плавающий в блюдце с бараньим жиром, чадно затрещал. Стягивая с плеч шинель, Ефим нагнулся над люлькой, висевшей у кровати, и брови его разгладились, возле рта легла нежная складка, губы, посиневшие от холода, зашептали привычную ласку. В лохмотьях, в тряпье, разбросав пухлые ручонки, заголившись до пояса, лежал розовый от сна шестимесячный первенец. На подушке, рядом с ним — рожок, туго набитый жеваным хлебом. Осторожно подсунув руку под горячую спинку, Ефим шепотом позвал жену.

— Перемени подстилку, обмочился, поганец!..

И пока снимала она с печки просохшую пеленку, Ефим вполголоса сказал:

— Маша, а ить меня выбрали в секретари.

— Ну, а Игнат с другими?

— В дыбки становились! Беднота за меня, как один.

— Смотри, Ефимушка, не наживи ты беды.

— Беда не мне, а им. Теперь начнут меня спихивать. В председатели-то прошел Игнатов зять.

* * *

Со дня перевыборов через хутор словно кто борозду пропахал и разделил людей на две враждебные стороны. С одной — Ефим и хуторская беднота; с другой — Игнат с зятем-председателем, Влас, хозяин мельницы-водянки, человек пять богатеев и часть середняков.

— Они нас в грязь втопчут! — неистово кричал на проулке Игнат.— Я знаю, куда Ефим крутит. Он хочет

уравнять всех. Слыхали, что он у Федьки-сапожника напевал? Будет, мол, у нас общественная запашка, будем землю вместе обрабатывать, а может, и трактор купим... Нет, ты сперва наживи четыре пары быков, а после и со мной равняйся, а то, кроме вшей в портках, и худобы нету! По мне, на трактор ихний наплевать. Деды наши и без него обходились!

Как-то перед вечером, в воскресенье, собрались возле Игнатова двора. Заговорили о весеннем переделе земли. Игнат, подвыпивший ради праздника, мотал головой и, отрыгивая самогонкой, вертелся возле Ивана Донскова.

— Нет, Ваня, ты по-суседски рассуди. Ну, на что вам, к примеру, нужна земля возле Переносного пруда? Да ей-богу! Земля там жирная, ей надо вспашку и обработку как следовает! А ты какого клепа вспашешь с одной парой быков? Ты, по-советски, середняк, то ись стоишь промеж Ефимкой и мной, обсуди, с кем тебе выгоднее якшаться? Вот ты по-доброму, как сусед, и того... На что вам земля у Переносного?

Иван сунул палец за вылинявший кушак, спросил прямо и строго:

— Ты это куда гнешь?

— Про землю то ись... Ну, сам посуди, земля там жирная.

— По-твоему, стал быть, нам хоть на белой глине сеять можно?

— Вот-вот!.. Опять же и про глину... Зачем на глине? Можно уважить...

— Земля у Переносного жирная... Гляди, дядя Игнат, как бы ты не подавился жирным куском!..— Иван круто повернулся и ушел.

Среди оставшихся долго цепенела неловкая тишина.

А на краю хутора, у Федьки-сапожника, в этот же вечер Ефим, вспотевший и красный, потряхивая волосами, неистово махал рукой:

— Тут не пером подсоблять, а делом! Селькоров этих расплодилось ровно мух. И с делом, и с небылицами прут в газету, иной раз читать тошно. А спроси, много из них каждый сделал? Заместо того чтоб хныкать да к власти под подол, как дите к матери, забираться, кулаку свой кулак покажи. Что? К чертовой матери! Беднота у Советской власти не век должна сиську дудолить, пора уж самим по свету ходить... Вот именно, без помочей! Прошел я в члены Совета, а теперь поглядим, кто кого.

* * *

Ночь неуклюже нагромоздила темноту в проулках, в садах, в степи. Ветер с разбойничьим посвистом мчался по улицам, турсучил скованные морозом голые деревья, нахально засматривал под застрехи построек, ерошил перья у нахохленных спящих воробьев и заставлял их сквозь сон вспоминать об июньском зное, о спелой, омытой утренней росой вишне, о навозных личинках и о прочих вкусных вещах, которые нам, людям, в зимние ночи никогда не снятся.

Возле школьного забора в темноте тлели огни цигарок. Иногда ветер схватывал пепел с искрами и заботливо нес ввысь, покуда искры не тухли, и тогда снова над густо-фиолетовым снегом дрожали темь и тишина, тишина и темь.

Один, в распахнутом полушубке, прислонясь к забору, молча курил. Другой стоял рядом, глубоко вобрав голову в плечи.

Молчание долго никем не нарушалось. Немного погодя завязался разговор. Говорили придушенным шепотом:

— Ну, как?

— Препятствует. У тестя девка в работницах живет, так он надысь подкапывается. «Договор с ней заключали?» — спрашивает. «Не знаю»,— говорю. А он мне: «Надо бы председателю знать, за это по головке не погладят...»

— Уберем с дороги?

— Придется.

— А ежели дознаются?

— Следы надо покрыть.

— Так когда же?

— Приходи, посоветуем.

— Черт его знает... Страшновато как-то... Человека убить — не жуй да плюй.

— Чудак, иначе нельзя! Понимаешь, он могет весь хутор разорить. Запиши посев правильно, так налогом шкуру сдерут, опять же земля... Он один бедноту настраивает... Без него мы гольтепу эту вó как зажмем!..

В темноте хрустнули пальцы, стиснутые в кулак. Ветер подхватил матерную брань.

— Ну, так придешь, что ли?

— Не знаю... может, приду... Приду!

* * *

Ефим, позавтракав, только что собрался идти в исполком, когда, глянув в окно, увидел Игната.

— Игнат идет, что бы это такое?

— Он не один, с ним Влас-мельник,— добавила жена.

Вошли оба в хату и, сняв шапки, истово перекрестились.

— Здорово дневали!

— Здравствуйте,— ответил Ефим.

— С погодкой, Ефим Миколаич! То-то денек ныне хорош выпал, пороша свежая, теперь бы за зайчишками погонять.

— За чем же дело стало? — спросил Ефим, недоумевая, зачем пришли диковинные гости.

— Куда уж мне,— присаживаясь, заговорил Игнат.— Это тебе можно: дело молодое, пришел ко мне, прихватил собак — в степь. Надысь собаки сами лису взяли возля огородов.

Влас, распахнув шубу, сел на кровать и, покачивая люльку, откашлялся.

— Мы к тебе, Ефим, пришли. Дельце есть.

— Говорите!

— Слыхали, что хочешь ты с нашего хутора переходить на жительство в станицу. Верно?

— Никуда я не собираюсь переходить. Кто это вам напел? — удивленно спросил Ефим.

— Слыхали промеж людей,— уклончиво ответил Влас,— и пришли из этого. Какой тебе расчет переходить в станицу, когда можно под боком купить флигилек с подворьем и совсем даже задешево.

— Это где же?

— В Калиновке. Продается недорого. Ежли хошь переходить — могем помочь и деньгами, в рассрочку. И перебраться помогем.

Ефим улыбнулся:

— А вам бы хотелось спихнуть меня с рук?

— Ты выдумаешь! — Игнат замахал руками.

— Вот что я вам скажу.— Ефим подошел к Игнату вплотную.— С хутора я никуда не пойду, и вы отчаливайте с этим! Я знаю, в чем дело! Меня вы не купите ни деньгами, ни посулами! — Густо багровея, судорожно переводя дух, крикнул, как плюнул, в ехидное бородатое лицо Игната:— Иди из моей хаты, старая собака! И ты, мельник... Идите,

гады!.. Да живей, покедова я вас с потрохами не вышиб!

В сенцах Игнат долго поднимал воротник шубы и, стоя к Ефиму спиной, раздельно сказал:

— Тебе, Ефимка, это припомнится! Не хочешь добром уходить? Не надо. Тебя из этой хаты вперед ногами вынесут!

Не владея собой, Ефим сграбастал воротник обеими руками и, бешено встряхнув Игната, швырнул его с крыльца. Запутавшись в полах шубы, Игнат грузно жмякнулся о землю, но вскочил проворно, по-молодому и, вытирая кровь с разбитых при падении губ, кинулся на Ефима. Влас, растопырив руки, удержал его:

— Брось, Игнат, не сейчас... успеется...

Игнат, угнувшись вперед, долго глядел на Ефима неподвижным помутневшим взглядом, шевелил губами, потом повернулся и пошел, не сказав ни слова. Влас шел позади, обметая с его шубы налипший снег, и изредка оглядывался на Ефима, стоящего на крыльце.

* * *

Перед святками к Ефиму во двор прибежала, облитая слезами, Дунька — Игнатова работница.

— Ты чего, Дуняха? Кто тебя? — спросил Ефим и, воткнув вилы в прикладок соломы, торопливо вышел с гумна.— Кто тебя? — переспросил он, подходя ближе.

Девка с опухшим и мокрым от слез лицом высморкалась в завеску и, утирая слезы концом платка, хрипло заголосила:

— Ефим, пожалей ты мою головоньку!.. Охо-хо-хо!.. И что же я буду, сиротинушка, де-е-лать!..

— Да ты не вой! Выкладывай толком!..— прикрикнул Ефим.

— Выгнал меня хозяин со двора. Иди, говорит, не нужна ты мне больше!.. Куда же я теперича денусь? С Филипповки третий год пошел, как я у него жила... Просила хоть рупь денег за прожитое... Нет, говорит, тебе и копейки, я сам бы поднял, да они — денюжки — на дороге не валяются.

— Пойдем в хату! — коротко сказал Ефим.

Не спеша раздевшись, повесил на гвоздь шинель Ефим, сел за стол, усадил напротив всхлипывающую девку.

— Ты как у него жила, по договору?

— Я не знаю... Жила с голодного году.

— А договор, словом, бумагу никакую не подписывала?

— Нет. Я неграмотная, насилу фамилию расписываю.

Помолчав, Ефим достал с полки четвертушку оберточной бумаги и ковыляющим почерком четко вывел:

В нарсуд 8-го участка

ЗАЯВЛЕНИЕ

* * *

С весны прошлого года, когда Ефим подал в станичный исполком заявление на кулаков, укрывших посев от обложения, Игнат — прежний заправила всего хутора — затаил на Ефима злобу. Открыто он ее ничем не выражал, но из-за угла, втихомолку гадил. На покосе обидел Ефима сеном. Ночью, когда тот уехал в хутор, пригнал Игнат две арбы и увез чуть не половину всей скошенной травы. Ефим смолчал, хотя приметил, что с его покоса колесники вели по проследку до самого Игнатова гумна.

Недели через две борзые Игната напали в Крутом логу на волчью нору. Волчица ушла, а двух волчат, шершавеньких и беспомощных, Игнат достал из логова и посадил в мешок. Увязав мешок в торока, сел на лошадь и не спеша поехал домой.

Лошадь храпела и боязливо прижимала уши, на ходу выгибалась, словно готовясь к прыжку, борзые юлили у самых ног лошади, нюхали воздух, поднимая горбатые морды, и тихонько подвизгивали. Игнат качался в седле, поглаживая шею коня, ухмыляясь в бороду.

Короткие летние сумерки уступили дорогу ночи, когда Игнат с горы спустился в хутор. Под копытами коня сверкали, отлетая, каменные осколки, в тороках в мешке молча возились волчата.

Не доезжая до Ефимова двора, Игнат натянул поводья и, скрипнув седлом, соскочил на землю. Отвязав мешок, вытащил первого попавшегося под руку волчонка, под теплой шерсткой нащупал тоненькую трубочку горла и, морщась, стиснул ее большим и указательным пальцами. Короткий хруст. Волчонок с переломанным горлом летит через плетень в Ефимов двор и неслышно падает в густые колючки. Через минуту другой шлепается в двух шагах от первого.

Игнат брезгливо вытирает руку, вскакивает в седло и щелкает плетью. Конь, фыркая, мчится по проулку, позади спешат поджарые борзые.

А ночью к хутору с горы спустилась волчица и долго черной недвижной тенью стояла возле ветряка. Ветер дул с юга, нес к ветряку враждебные запахи, чуждые звуки... Угнув голову, припадая к траве, волчица сползла в проулок и стала возле Ефимова двора, обнюхала следы. Без разбега перемахнула двухаршинный плетень, извиваясь, поползла по колючкам.

Ефим, разбуженный ревом скота, зажег фонарь и выскочил на двор. Добежал до база — воротца приоткрытые; направил туда желтый мигающий свет, увидел: к яслям приткнулась овца, между широко расставленными ногами ее синим клубком дымились выпущенные кишки. Другая лежала посреди база, из расшматованного горла уже не лилась кровь.

Утром нечаянно наткнулся Ефим на мертвых волчат, лежавших в колючках, и догадался, чьих рук это дело. Забрав волчат на лопату, вынес в степь и кинул подальше от дороги. Но волчица наведалась в Ефимов двор еще раз. Продрав камышовую крышу сарая, бесшумно зарезала корову и скрылась.

Ефим отвез ободранную корову в глинище, куда сваливается падаль, и прямо оттуда пошел к Игнату. Под навесом сарая Игнат тесал ребра на новую арбу. Увидев Ефима, отложил топор, улыбнулся и, поджидая, присел на дышло повозки, стоявшей под навесом.

— Иди в холодок, Ефим!

Ефим, сохраняя спокойствие, подошел и сел рядом.

— Хорошие у тебя собаки, дядя Игнат!..

— Да, брат, собачки у меня дорогие... Эй, Разбой, фюйть! Иди сюда!..

С крыльца сорвался грудастый, длинноногий кобель и, виляя крючковатым хвостом, подбежал к хозяину.

— Я за этого Разбоя ильинским казакам заплатил корову с телком.— Улыбнувшись уголками губ, Игнат продолжал: — Хорош кобель... Волка берет...

Ефим протянул руку к топору и, почесывая кобеля за ушами, переспросил:

— Корову, говоришь?

— С телком. Да рази это цена? Он дороже стоит.

Коротко взмахнув топором, Ефим развалил череп собаки надвое. На Игната брызнула кровь и комья горячего мозга.

Посиневший Ефим тяжело поднялся с повозки и, кинув топор, шепотом выдохнул:

— Видал?

Игнат выпученными глазами глядел, задыхаясь, на скрюченные ноги собаки.

— Сбесился ты, что ли? — просипел он.

— Сбесился,— мелко подрагивая, шептал Ефим.— Тебе бы, гаду, голову надо стесать, а не собаке!.. Кто волчат у мово двора побил? Твоих рук дело!.. У тебя восемь коров... одну потерять — убыток малый. А у меня последнюю волчиха зарезала, дите без молока осталось!

Ефим крупно зашагал к воротам. У самой калитки его догнал Игнат.

— За кобеля заплатишь, сукин сын!..— крикнул он, загораживая дорогу.

Ефим шагнул вплотную и, дыша в растрепанную бороду Игната, проговорил:

— Ты, Игнат, меня не трожь! Я тебе не свойский, терпеть обиду не буду. За зло — злом отквитаю! Прошло время, когда перед тобой спину гнули!.. Прочь...

Игнат посторонился, уступая дорогу. Хлопнул калиткой и долго матерился, грозил уходившему Ефиму кулаком.

* * *

После случая с собакой Игнат перестал преследовать Ефима. При встрече с ним кланялся и отводил глаза в сторону. Такие отношения тянулись до тех пор, пока суд не присудил Игната к уплате шестидесяти рублей Дуньке-работнице. С этого времени Ефим почувствовал, что из Игнатова двора грозит ему опасность. Что-то готовилось. Лисьи глазки Игната таинственно улыбались, глядя на Ефима.

Как-то в исполкоме председатель с подходцем выспрашивал:

— Слыхал, Ефим, с тестя присудили шестьдесят рублей?

— Слыхал.

— Кто бы мог научить эту шалаву — Дуньку?

Ефим улыбнулся и поглядел прямо в глаза председателю.

— Нужда. Тесть твой выгнал ее со двора и куска хлеба не дал на дорогу, а Дунька работала у него два года.

— Так ведь мы же ее кормили!..

— И заставляли работать с утра до ночи?

— В хозяйстве, сам знаешь, работа не по часам.

— Тебе, я вижу, любопытно знать, кто написал заявление в суд?

— Вот-вот, кто б это мог?

— Я,— ответил Ефим и по лицу председателя понял, что это для него является неожиданностью.

Перед вечером Ефим взял с собой из исполкома бумаги и обязательное постановление стансполкома.

«Перепишу после ужина»,— подумал, шагая домой. Поужинал, закрыл с надворья ставни и сел за стол переписывать. Взгляд его случайно упал на оголенные рамы окон.

— Маша, ты что ж, аль не купила ситцу на занавески?

Жена, сидевшая за прялкой, виновато улыбнулась:

— Я купила два метра... ты ить знаешь, пеленок нету... дите в лохмотьях... я и сшила две пеленки.

— Ну, это ничего... А все ж таки завтра купи. Неловко: кто ставню с улицы откроет — все видно.

За окнами, узорчато размалеванными морозом, ветер пушил поземкой. Тучи, бесформенные и тяжелые, застилали небо. На краю хутора, там, где лобастая гора спускается к дворам забурьяневшим склоном, брехали собаки. Над речкой вербы обиженно роптали, жаловались ветру на холод, на непогодь, и скрип их раскачивающихся ветвей, и шум ветра сливались в согласный басовитый гул.

Ефим, макая перо в самодельную чернильницу с чернилами, сделанными из дубовых ягод, изредка поглядывал на окно, таившее в черном немом квадрате молчаливую угрозу. Ему было не по себе. Часа через два ставня с улицы скрипнула и слегка приоткрылась. Ефим не слышал скрипа, но, бесцельно взглянув на окно, похолодел от ужаса: в узенький просвет сквозь ветвистую изморозь на него, прижмурясь, тяжко глядели чьи-то знакомые серые глаза. Через секунду на уровне его головы за стеклом, словно нащупывая, появилась черная дырка винтовочного дула. Ефим сидел, откинувшись к стене, недвижный, побледневший. Рама была одинарная, и он ясно услышал, как щелкнул спуск. Над серыми глазами изумленно дернулись брови... Выстрела не последовало. На миг за стеклом исчез черный кружок, четко лязгнул затвор, но Ефим, опомнившись, дунул на огонь — и едва успел нагнуть голову, как за окном ахнул выстрел, брызнуло стекло, и пуля сочно чмокнулась в стену, осыпая Ефима кусками штукатурки.

Ветер хлынул в разбитое окно, запорошив лавку снежной пылью. В люльке пронзительно закричал ребенок, хлопнула ставня...

Ефим бесшумно сполз на пол и на четвереньках добрался до окна.

— Ефимушка! Родненький!.. Ой, господи!.. Ефимушка!..— плакала на кровати жена, но Ефим, стиснув зубы, не отзывался; дрожь трясла его тело. Приподнявшись, заглянул он в разбитое окно; увидел, как по улице рысью убегал кто-то, закутанный снежной пылью. Опираясь на лавку, встал Ефим во весь рост и снова стремительно упал на пол: из-за полуоткрытой ставни скользнул ствол винтовки, грохнул выстрел... Едкий запах пороховой гари наполнил хату.

* * *

Наутро Ефим, осунувшийся и желтый, вышел на крыльцо. Светило солнце, трубы курились дымом, ревел у речки скот, пригнанный на водопой. На улице лежали свежие следы полозьев, новый снег слепил глаза незапятнанной белизной. Все было такое обычное, будничное, родное, и прошедшая ночь показалась Ефиму угарным сном. Возле завалинки, против разбитого окна, нашел он в снегу две порожние гильзы и винтовочный патрон с черной ямкой на пистоне. Долго вертел в руках заржавелый патрон, подумал: «Если б не осечка, если б обойма эта не была отсыревшей,— каюк бы тебе, Ефим!»

В исполкоме уже сидел председатель. На скрип двери мельком взглянул на Ефима и снова склонился над газетой.

— Рвачев! — окликнул Ефим.

— Ну? — отозвался тот, не поднимая головы.

— Рвачев! Гляди сюда!..

Председатель нехотя поднял голову, и прямо на Ефима глянули из-под крутого излома бровей широко расставленные серые глаза.

— Ты, подлец, стрелял в меня ночью? — хрипло спросил Ефим.

Председатель, багровея, принужденно засмеялся:

— Ты что? С ума спятил?

У Ефима перед глазами встала минувшая ночь: тяжкий, немигающий взгляд за стеклом, черная пасть винтовки, крик жены... Устало махнув рукой, Ефим сел на лавку и улыбнулся:

— Не вышло. Патроны сырые... Где они у тебя спасались? Небось в земле?

Председатель вполне овладел собой, ответил холодно:

— Не знаю, о чем ты говоришь: должно, лишнее выпил.

К полудню слух о том, что в Ефима ночью стреляли, облетел весь хутор. Возле хаты его толпились любопытные. Иван Донсков вызвал Ефима из исполкома, спросил:

— Ты сообщил в милицию?

— С этим успеется.

— Ну, брат, не робей, в обиду тебя мы не дадим. С Игнатом теперича осталось пять человек, а мы их раскусили! За кулачьем никто уж не пойдет, все откачнулись, будя!..

Вечером, когда у Федьки-сапожника собралась молодежь и под стук его чеботарского молотка закипел, как всегда, горячий разговор, к Ефиму подсел сверстник Васька Обнизов, зашептал любовно, сжимая Ефимово плечо:

— Попомни, Ефим, убьют тебя — двадцать новых Ефимов будет. Понял? Толком тебе говорю! Знаешь, как в сказке про богатырей? Одного убьют, а их обратно двое получается... Ну, а нас не двое, а двадцать образуется!

* * *

В станицу пошел Ефим с утра. Побывал в исполкоме, в кредитном товариществе, в милиции задержался, поджидая старшего милиционера. Покуда управился с делами — смерклось.

Вышел из станицы и по гладкому, скользкому льду речки пошел домой. Вечерело. Щеки слегка покалывал морозец. На западе неприветливо синела ночь. За поворотом завиднелся хутор, темные ряды построек. Ефим прибавил шагу и, оглянувшись назад, увидел: позади, шагах в двухстах, идут кучкой трое.

Смерив взглядом расстояние до хутора, Ефим пошел быстрее, но, оглянувшись через минуту, увидел, что те, позади, не только не отстали, а даже как будто приблизились. Охваченный тревогой, Ефим перешел на рысь. Бежал, как на ученье, плотно прижав локти к бокам, вдыхая морозный воздух через нос. Хотел выбраться на берег, но вспомнил, что там глубокий снег, и снова побежал вдоль речки.

Случилось так: не рассчитав движения, поскользнулся, не выправился и упал. Поднимаясь, глянул назад, его настигали... Передний бежал упруго и легко, на бегу размахивая колом.

Ужас едва не вырвал из горла Ефима крик о помощи, но до хутора было больше версты: крик все равно никто не

услышит. В короткий миг осознав это, Ефим сжал губы и молча рванулся вперед, пытаясь наверстать время, потерянное при падении. Несколько минут расстояние, лежавшее между ним и передним из трех, как будто не сокращалось; затем, оглянувшись, Ефим увидел, что бежавший позади настигает его. Собрав все силы, помчался быстрее, и тут слух его уловил новый звук: по льду, глухо вызванивая, стремительно скользил кол. Удар сбил Ефима с ног. Вскочив, он снова побежал. На секунду вспомнил: так же бежал он под Царицыном, когда атакой выбивали белых, такое же горячее удушье заливало тогда грудь...

Кол, пущенный сильной рукой, опять свалил Ефима с ног. Он не поднялся... сзади кто-то страшным ударом в голову отбросил его в сторону. В железный комок собрав всю волю, Ефим, качаясь, встал на четвереньки, но его повалили навзничь.

«Лед почему-то горячий...» — сверкнула мысль. Глянув вбок, Ефим увидел у берега надломленный стебель камыша. «Сломили и меня...» И сейчас же в тускнеющем сознании огненные всплыли слова: «Попомни, Ефим, убьют тебя — двадцать новых Ефимов будет!.. Как в сказке про богатырей...»

Где-то в камыше стоял тягучий, беспрерывный гул... Ефим не чувствовал, как в рот ему, ломая зубы, выворачивая десны, глубоко всадили кол; не чувствовал, как вилы пронзили ему грудь и выгнулись, воткнувшись в позвоночник...

* * *

Трое, покуривая, быстро шли к хутору, за одним из них поспешали борзые. Срывалась метель, снег падал на лицо Ефима и уже не таял на холодных щеках, где замерзли две слезинки непереносимой боли и ужаса.

1926

ЧЕРВОТОЧИНА

Яков Алексеевич — старинной ковки человек: ширококостный, сутуловатый; борода, как новый просяной веник,— до обидного похож на того кулака, которого досужие худож-

ники рисуют на последних страницах газет. Одним не схож — одежей. Кулаку, по занимаемой должности, непременно полагается жилетка и сапоги с рыпом, а Яков Алексеевич летом ходит в холщовой рубахе, распоясавшись и босой. Года три назад числился он всамделишным кулаком в списках станичного Совета, а потом рассчитал работника, продал лишнюю пару быков, остался при двух парах да при кобыле, и в Совете в списках перенесли его в соседнюю клетку — к середнякам. Прежнюю выправку не потерял от этого Яков Алексеевич: ходил важной развалкой, так же, по-кочетиному, держал голову, на собраниях, как и раньше, говорил степенно, хриповато, веско.

Хоть урезал он свое хозяйство, а дела повел размашисто. Весной засеял двадцать десятин пшеницы; на хлебец, сбереженный от прошлогоднего урожая, купил запашник, две железные бороны, веялку. Известно уж, кто весной последнее продает: кому жевать нечего.

По всей станице поискать такого хозяина, как Яков Алексеевич: оборотистый казак, со смекалкой. Однако и у него появилась червоточина: младший сын Степка в комсомол вступил. Так-таки без спроса и совета взял и вступил. Доведись такая беда на глупого человека — быть бы неурядице в семье, драке, но Яков Алексеевич не так рассудил. Зачем парня дубиной обучать? Пусть сам к берегу прибивается. Изо дня в день высмеивал нонешнюю власть, порядки, законы, желчной руганью пересыпал слова, язвил, как осенняя муха; думал, раскроются у Степки глаза,— они и раскрылись: перестал парень креститься, глядит на отца одичалыми глазами, за столом молчит.

Как-то перед обедом семейно стали на молитву. Яков Алексеевич, разлопушив бороду, отмахивал кресты, как косой по лугу орудовал; мать Степкина в поклонах ломалась, словно складной аршин; вся семья дружно махала руками. На столе дымились щи; хмелинами благоухал свежий хлеб. Степка стоял возле притолоки, заложив руки за спину, переступая с ноги на ногу.

— Ты человек? — помолившись, спросил Яков Алексеевич.

— Тебе лучше знать.

— Ну, а если человек и садишься с людьми за стол, то крести харю. В этом и разница промеж тобой и быком. Это бык так делает: из яслев жрет, а потом повернулся и туда же надворничает.

Степка направился было к двери, но одумался, вернулся и, на ходу крестясь, скользнул за стол.

За несколько дней пожелтел с лица Яков Алексеевич; похаживая по двору, хмурил брови; знали домашние, что пережевывает какую-нибудь мыслишку старик, недаром по ночам кряхтит, возится и засыпает только перед рассветом. Мать как-то шепнула Степке:

— Не знаю, Степушка, что наш Алексеевич задумал... Либо тебе какую беду строит, либо кого опутать хочет...

Степка-то знал, что на него готовит отец поход, и, притаившись, подумывал, куда направить лыжи в том случае, если старик укажет на ворота.

В самом деле, есть о чем подумать Якову Алексеевичу: будь Степке вместо двадцати пятнадцать годов, тогда бы с ним легко было справиться. Долго ли взять из чулана новые ременные вожжи да покрепче намотать на руку? А в двадцать годов любые вожжи тонки будут; таких оболтусов учат дышлиной, но по теперешним временам за дышлину так прискребут, что и жарко, и тошно будет. Как тут не кряхтеть старику по ночам и не хмурить бровей в потемках?

Максим — старший брат Степки, казак ядреный и сильный,— по вечерам, выдалбливая ложки, спрашивал Степку:

— А скажи, браток, на чуму тебе сдался этот комсомол?

— Не вяжись! — рубил Степка.

— Нет, ты скажи,— не унимался Максим.— Вот я прожил двадцать девять лет, больше твово видал и знаю, и так полагаю, что пустяковина все это... Разным рабочим подходящая штука, он восемь часов отдежурил — и в клуб, в комсомол, а нам, хлеборобам, не рука... Летом в рабочую пору протаскаешься ночь, а днем какой из тебя работник будет?.. Ты по совести скажи: может, ты хочешь службу какую получить, для этого и вступил? — ехидно спрашивал Максим.

Степка, бледнея, молчал, и губы у него дрожали от обиды.

— Ерундовская власть. Нам, казакам, даже вредная. Одним коммунистам житье, а ты хоть репку пой... Такая власть долго не продержится. Хоть и крепко присосались к хлеборобовой шее разные ваши комсомолы, а как приспеет время, ажник черт их возьмет!

На потном лбу Максима подпрыгивала мокрая прядка волос. Нож, обтесывая болванку, гневно метал стружки.

Степка, бесцельно листая книгу, угрюмо сопел: ему не хотелось ввязываться в спор, потому что сам Яков Алексеевич прислушивался к словам Максима с молчаливым одобрением, видимо, ожидая, что скажет Степка.

— Ну, а если, не приведи бог, какой переворот? Тогда что будешь делать? — хищно поблескивая зубами, щерился Максим.

— Зубы повыпадут, покель дождешься переворота!

— Гляди, Степка! Ты уж не ма́хонький... Игра идет «шиб-прошиб», промахнешься — тебя ушибут! Да случись война или ишо что, я первый тебя драть буду! Таких щенят, как ты, убивать незачем, а плетью сечь буду... До болятки!

— И следовает!..— подталдыкивал Яков Алексеевич.

— Пороть буду, вот те крест!..— подрагивая ноздрями, гремел Максим.— В германскую войну, помню, пригнали нашу сотню на какую-то фабрику под Москвой — рабочие там бунтовались. Приехали мы перед вечером, въезжаем в ворота, а народу возле конторы — тьма. «Братцы казаки, шумят, становитесь в наши ряды!» Командир сотни — войсковой старшина Боков — командует: «В плети их, сукиных сынов!..»

Максим захлебнулся смехом и, багровея, наливаясь краской, долго раскатисто ржал.

— Плеть-то у меня сыромятная, в конце пулька зашита... Выезжаю вперед, как гаркну забастовщикам этим: «...Вставай, подымайся, рабочий народ! Приехали казаки вам спины пороть!» Попереди всех старичишка в картузе стоял, так, седенький, щупленький... Я его как потяну плетью, а он — копырь и упал коню под ноги... Что там было...— суживая глаза, тянул Максим.— Бабья этого лошадьми потоптали — штук двадцать. Ребята осатанели и уж за шашки взялись...

— А ты? — хрипло спросил Степка.

— Кое-кому вложил память!

Степка спиной прижался к печке. Прижался крепко-накрепко, сказал глухо:

— Жалко, что не шлепнули тебя, такого гада!..

— Это кто же гад?

— Ты...

— Кто гад? — переспросил Максим и, кинув на пол необтесанную ложку, поднялся со скамьи.

Ладони у Степки взмокли теплым потом. Стиснул кулаки, ногти въелись в тело, и уже твердо сказал:

— Собака ты! Каин!

Максим, вытянув руку, сжал в комок рубаху на груди у Степки, рывком оторвал его от печки и кинул на кровать. Ненависть варом обожгла парня. Метнулся в сторону, в пальцах Максима оставил ворот рубахи, взмахнул кулаком... Хлесткий удар в щеку свалил Степку с ног. Левой рукой Максим мял ему горло, правой размеренно бил по щекам. Степка чувствовал над собой частое дыхание брата, видел холодную и такую ненужную улыбку на его губах, от каждого удара захватывало дыхание, звон колол уши, из глаз текли слезы. Крик обиды за невольные слезы, за улыбку Максима застревал в стиснутом горле... Из разбитых губ текла кровь. Вращая выпученными глазами, Степка кровью плевал в лицо брата, но тот отворачивал в сторону голову, показывая бритую жилистую шею, и так же размеренно, молча кидал шершавую ладонь на вспухшие щеки Степки...

Выждав время, разнял их сам Яков Алексеевич. Максим, все так же улыбаясь, поднял с земли недоделанную ложку, сел возле окна. Степка вытер рукавом окровяненные губы, надел шапку и вышел, тихонько притворив за собой дверь.

— Ему это на пользу... Пущай за борозду не залазит, а то он скоро и до отца доберется! — заговорил Максим.

Яков Алексеевич задумчиво мял бороду, хмурился, поглядывая на мокрое от слез лицо старухи.

* * *

Наутро Максим первым затеял разговор.

— Пойдешь в Совет жалиться? — спросил он Степку.

— Пойду!

— А по-семейному это будет?

Степка глянул на посеревшее лицо Максимовой жены, на мать, утиравшую глаза завеской, и промолчал. Про себя решил снести обиду, молчать.

С этого дня надолго легла в доме нудная тишина. Бабы говорили шепотом. Яков Алексеевич, пасмурный, как ноябрьский рассвет, молчал. Максим, виновато улыбаясь, заговаривал со Степкой:

— Ты, браток, не всякую лыку в строку. Мало ли чего не бывает в семье... А все это через твой комсомол! Брось ты его к чертовой матери! Жили без него, да и теперь проживем. Какая тебе нужда переться туда? Отцу вон соседи

в глаза лезут: «Что ж, мол, Степка-то ваш в комсомолисты подался?» А старику ить совестно... Опять же жениться тебе, какая девка без венца пойдет? Хлюстанку брать?

Степка отмалчивался, уходил на баз. По вечерам шел на площадь, в клуб. Под хрипенье поповской фисгармонии думал невеселые думки.

А на станицу напористо перла весна. На девичьих щеках появились веснушки, на вербах — почки. По улицам отзвенело весеннее половодье. Неприметно куда ушел снег, под солнечным пригревом дымилась, таяла в синеве бирюзовая степь. В степных ярах, в буераках, вдоль откосов еще лежал снег, поганя землю своей несвежей, излапанной ветрами белизной, а по взгорьям, по лохматым буграм уже взбрыкивали овцы, степенно похаживали коровы, и зеленые щепотки травы, пробиваясь сквозь прошлогоднюю блеклую старюку, пахли одурманивающе и нежно.

Пахать выехали в средине марта. Яков Алексеевич засуетился раньше всех. С масленицы начал подсыпать быкам кукурузу, кормил сытно, по-хозяйски.

Солнце еще не выпило из земли жирного запаха весенней прели, а Яков Алексеевич уже снаряжал сынов, и в четверг, чуть рассвело, выехали в степь. Степка погонял быков, Максим ходил за плугом. Два дня жили в степи за восемь верст от дома. По ночам давили морозы, трава обрастала инеем, земля, скованная ледозвоном, отходила только к полудню, и две пары быков, пройдя два-три загона, становились на постав, над мокрыми спинами пенился пар, бока тяжело вздымались. Максим, очищая с сапог налипшую грязь, косился на отца, хрипел простуженным голосом:

— Ты, батя, сроду так... Ну, рази это пахота? Это увечье, а не работа! Скотину порежем начисто... Ты погляди кругом: окромя нас, пашет хоть одна душа?

Яков Алексеевич палочкой скреб лемешки, гундосил:

— Ранняя пташка носик очищает, а поздняя глазки протирает. Так-то говорят старые люди, а ты, молодой, разумей!

— Какая там пташечка! — кипятился Максим.— Она, эта самая пташечка, будь она трижды анафема, не сеет, не жнет и не пашет в таковскую погоду, а ты, батя... Да что там... Кхе-кхе... Кхе!..

— Ну, отдохнули, трогай, сынок с богом!

— Чего там трогай, налево кругом — и марш домой!

— Трогай, Степан!

Степка арапником вытягивал сразу обоих борозденных. Плуг, словно прилипая к земле, скрипел, судорожно подрагивал и полз, лениво отваливая тонкие пласты грязи.

* * *

С того дня, как стал Степка комсомольцем, откололась от него семья. Сторонились и чуждались, словно заразного. Яков Алексеевич открыто говорил:

— Теперь, Степан, не будет прежнего ладу. Ты нам навроде как чужой стал... Богу не молишься, постов не блюдешь, батюшка с молитвой приходил, так ты и под святой крест не подошел... Разве ж это дело? Опять же хозяйство,— при тебе слово лишнее опасаешься сказать... Раз уж завелась в дереве червоточина — погибать ему, в труху превзойдет, ежели вовремя не вылечишь. А лечить надо строго, больную ветку рубить, не жалеючи... В Писании и то сказано.

— Мне из дому идтить некуда,— отвечал Степка.— На этот год на службу уйду, вот и развяжу вам руки.

— Из жилья мы тебя не выгоняем, но поведенье свое брось! Нечего тебе по собраньям шляться, на губах еще не обсохло, а ты туда же, рот разеваешь. Люди в глаза мне смеются через тебя, поганца.

Старик, разговаривая со Степкой, багровел, едва сдерживал волнение, а Степка, глядя в холодные отцовы глаза, на жесткие по-звериному изломы губ, вспоминал упреки ребят-комсомольцев: «Обуздай отца, Степка! Ведь он разоряет бедноту, скупая под весну за бесценок сельскохозяйственные орудия. Стыдно!»

И Степка, вспоминая, действительно краснел от жгучего стыда, чувствовал, что в сердце нет уже ни прежней кровной любви, ни жалости к этому беспощадному дёру — к человеку, который зовется его отцом.

Будто каменной глухой стеной отгородилась от Степки семья. Не перелезть эту стену, не достучаться.

Отчуждение постепенно переходило в маленькую сначала злобу, а злобу сменила ненависть. За обедом, случайно подняв глаза, встречал Степка ледянистые глаза Максима, переводил взгляд на отца и видел, как под сумчатыми веками Якова Алексеевича загораются злобные огоньки, в руке начинает дрожать ложка. Даже мать, и та стала смотреть на Степку равнодушным, невидящим взглядом. Кусок застревал у парня в горле, непрошеные слезы жгли

глаза, валом вставало глухое рыдание. Скрепясь, наскоро дообедывал и уходил из дому.

По ночам часто Степке снился один и тот же сон: будто хоронят его где-то в степи, под песчаным увалом. Кругом незнакомые, чужие люди, на увале растут сухобылый бурьян и остролистый змеиный лук. Отчетливо, как наяву, видел Степка каждую веточку, каждый листик...

Потом в яму бросали его, Степкино, мертвое тело и сыпали лопатами глину. Один холодный грузный ком падает на грудь, за ним другой, третий... Степка просыпался, ляская зубами, со стесненной грудью, и, уже проснувшись, дышал глубокими частыми вздохами, словно ему не хватало воздуха.

* * *

На время кончились полевые работы. Степь пустовала без людей, лишь на огородах маячили цветные платки баб. По вечерам станица, любовно перевитая сумерками, дремала на высохшей земляной груди, разметав по окраинам зеленые косы садов. Перезвоны гармошек подолгу бродили за станицей, там, где урубом кончается степь и начинается пухлая синь неба. Подходил покос. Трава вымахала в пояс человеку. На остреньких головках пырея стали подсыхать ости, желтели и коробились листки, наливалась соком сурепка, в логах кучерявился конский щавель.

Яков Алексеевич раньше всех выкосил свою делянку, по ночам запрягал быков и уезжал от стана с Максимом за грань, на вольные земли станичного фонда. Гасли звезды, пепельно серело небо, зорю выбивал перепел; просыпаясь под арбой, Степка слышал, как по росе цокотала косилка, выкашивая краденую траву.

Сена набрал Яков Алексеевич на две зимы. Хозяйственный человек он и знает, что на провесне, когда у бестягловых скотинка с голоду будет дохнуть, можно за беремя сена взять добрые деньги, а если денег нет, то и телушку-летошницу с база на свой баз перегнать. Вот поэтому-то Яков Алексеевич и вывершил прикладок вышиной в три косовых. Злые люди поговаривали, что и чужого сенца прихватил ночушкой Яков Алексеевич, но ведь не пойманный — не вор, а так мало ли какую напраслину можно на человека взвалить...

* * *

В субботу затемно пришел Прохор Токин. Долго мялся возле дверей, крутил в руках затасканную зеленую буденовку, тоскливо и заискивающе улыбался. «Пришел быков у отца просить»,— подумал Степка. Сквозь изодранные мешочные штаны Прохора проглядывало дряблое тело, босые ноги сочились кровью, в глубоких глазницах тускло, как угольки под золою, тлели слегка раскосые черные глаза. Взгляд их был злобно-голоден и умоляющ.

— Яков Алексеевич, выручи, ради Христа! Отработаю.

— А что у тебя за беда? — спросил тот, не вставая с кровати.

— Быков бы мне на день... Сено перевезть. Завтра день праздничный... а я бы перевез... Разворуют сено-то!

— Быков не дам!

— Ради Христа!

— Не проси, Прохор, не могу. Скотина мореная.

— Уважь, Яков Алексеевич. Сам знаешь, семья... чем коровенку зимовать буду? Бился, бился, не косил, а по былке выдергивал...

— Дай быков, отец! — вмешался Степка.

Прохор метнул в его сторону благодарный взгляд, суетливо моргая глазами, уставился на Якова Алексеевича. Неожиданно Степка увидел, что колени у Прохора мелко подрагивают, а он, желая скрыть невольную дрожь, переступает с ноги на ногу, как лошадь, посаженная на передок; чувствуя приступ омерзительной тошноты, Степка побледнел, выкрикнул лающим голосом:

— Дай быков! Что жилы тянешь!..

Яков Алексеевич насупил брови.

— Ты мне не указ. А коли такой желанный, то езжай в праздник сено вози! Своих быков в чужие руки я не доверяю!

— И поеду.

— Ну, и езжай!

— Спасибочко, Яков Алексеевич! — Прохор выгнулся в поклоне.

— Спасибо — спасибом, а молотьба придет — на недельку приди, поработаешься.

— Приду.

— То-то, гляди!

* * *

В воскресенье, едва засветлел рассвет, под окнами хат и хатенок загремели костыли квартальных. Яков Алексеевич встретил своего квартального возле крыльца.

— Ты чего спозаранку томашишься?

— Рассвенется, приходи в школу на собрание.— Квартальный развернул кисет и, слюнявя клочок газеты, невнятно пробурчал: — Статист приехал посевы записывать... Для налогу... Вот какие дела... Прощевайте!

Пошел к калитке, на ходу чиркая спичкой, громыхая сыромятными чириками. Яков Алексеевич задумчиво помял бороду и, обращаясь к Максиму, гнавшему быков с водопоя, крикнул:

— Быков повремени давать Прохору. Нынче утром собрание всчет налога. Статист приехал. Пойдем обое со Степкой. Он комсомолист, может, ему какая скидка выйдет. Что же, задарма он, что ли, обувку отцовскую бьет, по клубам шатается.

Максим бросил быков и торопливо подошел к отцу.

— Ты, гляди, на старости лет не сдури... Записывай замест двадцати десятин — шесть либо семь.

— Нашел, кого учить,— усмехнулся Яков Алексеевич.

За завтраком Яков Алексеевич небывало ласковым голосом сказал Степке:

— С Прохором поедешь за сеном на ночь, а зараз одевай праздничные шаровары и пойдем на собрание.

Степка промолчал. Позавтракал и, ни о чем не спрашивая, пошел с отцом. В школе народу — как колосу на десятине в урожайный год. Дошла очередь и до Якова Алексеевича. Позеленевший от табачного дыма статистик, гладя рыжую бороду, спросил:

— Сколько десятин посева?

Яков Алексеевич, помолчав, деловито прижмурил глаз.

— Жита две десятины,— на левой его руке палец пригнулся к ладони,— проса одна десятина,— согнулся другой растопыренный палец,— пшеницы четыре десятины...

Яков Алексеевич придавил третий палец и поднял глаза к потолку, словно что-то про себя подсчитывая. В толпе кто-то хихикнул; покрывая смех, кто-то густо кашлянул.

— Семь десятин? — спросил статистик, нервно постукивая карандашом.

— Семь,— твердо ответил Яков Алексеевич.

Степка, расчищая локтями дорогу, прорвался к столу.

— Товарищ! — Голос у Степки суховато-хриплый, рвущийся.— Товарищ статист, тут ошибка... Отец запамятовал...

— Как запамятовал? — бледнея, крикнул Яков Алексеевич.

— ...запамятовал еще один клин пшеницы... Всего двадцать десятин посеву.

В толпе глухо загудели, зашушукались. Из задних рядов несколько голосов сразу крикнули:

— Верна! Правильна! Брешет Яков... у него три раза по семь будет!..

— Что же вы, гражданин, вводите нас в заблуждение! — Статистик вяло сморщился.

— Кто его знает... враг попутал... верно, двадцать... Так точно... Вот, боже ты мой... Скажи на милость, запамятовал...

Губы у Якова Алексеевича растерянно вздрагивали, на посиневших щеках прыгали живчики. В комнате стояла неловкая тишина. Председатель что-то шепнул статистику на ухо, и тот красным карандашом зачеркнул цифру «7» и вверху жирно вывел — «20».

* * *

Степка забежал к Прохору, и через сады, торопясь, дошли до дому.

— Ты, брат, поспешай, а то придет отец с собрания, быков ни черта не даст!

Наскорях выкатили из-под навеса арбы, запрягли быков. Максим с крыльца крикнул:

— Записали посев?

— Записали.

— Что же, сделали тебе какую скидку?

Степка, не поняв вопроса, промолчал. Выехали за ворота. От площади к проулку почти рысью трусил Яков Алексеевич.

— Цоб!

Кнут заставил быков прибавить шагу. Две арбы с опущенными лестницами, мягко погромыхивая, потянулись в степь.

Возле ворот запыхавшийся Яков Алексеевич махал шапкой.

— Во-ро-чай-ся! — клочьями нес ветер осипший крик.

— Не оглядывайся! — крикнул Степка Прохору и приналег на кнут.

Арбы спустились, как нырнули, в яр, а от станицы, от осанистого дома Якова Алексеевича, все еще плыл тягучий рев:

— Вер-ни-сь, су-кин сы-ын!..

* * *

Затемно доехали до Прохоровых копен. Распрягли быков, пустили их щипать огрехи на скошенной делянке. Наложили возы сеном и порешили ночевать в степи, а перед рассветом ехать домой.

Прохор, утоптав второй воз, там же свернулся клубком, поджал ноги и уснул. Степка прилег на землю. Накинув зипун от росы, лежал, глядя на бисерное небо, на темные фигуры быков, щипавших нескошенную траву. Парная темь точила неведомые травяные запахи, оглушительно звенели кузнечики, где-то в ярах тосковал сыч.

Неприметно как — Степка уснул.

Первым проснулся Прохор. Мешковато упал с воза, присел над землей, вглядываясь, не видно ли где быков. Темнота густая, фиолетовая, паутиной оплетала глаза. Над логом курился туман. Дышло Большой Медведицы торчало, опускаясь на запад.

Шагах в десяти Прохор наткнулся на спавшего Степку.

Тронул рукой зипун, шерсть, взмокшая леденистой росой, приятно свежила руку.

— Степан, вставай! Быков нету!..

Пропавших быков искали до вечера. Исколесили степь кругом на десять верст, облазили все буераки, истоптали пышный цвет нескошенных трав по логам и балкам.

Быки — как сквозь землю провалились.

Перед вечером сошлись возле осиротелых возов, и почерневший, осунувшийся Прохор первый спросил:

— Что делать?

Голос его звучал глухо. Раскосые беспокойные глаза слезливо моргали...

— Не знаю, — с тяжелым равнодушием ответил Степка.

* * *

Яков Алексеевич глянул на солнце, чихнул и позвал Максима.

— Не иначе, обломались в яру. Вечер на базу, а их

нету... Приедет, проклятый, — поучим, да хорошенько... За посев поблагодарить надо... Оказал отцу помочь... Воспитал змеиного выродка... — И, багровея, рявкнул: — Запрягай кобылу!.. Поедем встренем!..

Еще издали Максим увидел возле возов с сеном недвижно сидящих Степку и Прохора.

— Батя!.. Гля-ко, никак, быков нету... — шепнул он упавшим голосом.

Яков Алексеевич согнул ладонь лодочкой, долго вглядывался: разглядев, стегнул кнутом кобылу. Повозка заметалась по кочковатой целине. Максим, причмокивая, махал вожжами.

— Где быки?.. — покрывая стукотню колес, загремел Яков Алексеевич.

Повозчонка стала около переднего воза. Максим на ходу спрыгнул, осушил ноги и, морщась, быстро подошел к Степке.

— Быки где?

— Пропали.

Страшный в зверином гневе, повернулся к бегущему отцу Максим, заорал исступленно:

— Пропали быки, батя!.. Твой сынок... разорили нас!.. По́ миру с сумкой!..

Яков Алексеевич с разбегу ударил побелевшего Степку и повалил его наземь.

— Убью!.. Зоб вырву!.. Признавайся, проклятый: продал быков?! Тут, небось, купцы... ждали... Через это охотился за сеном ехать!.. Го-во-ри!..

— Батя!.. Батя!..

В стороне Максим катал по земле Прохора. Бил сапогами в живот, грудь, голову. Прохор закрывал ладонями лицо и глухо мычал.

Выхватив из воза вилы, Максим вздернул Прохора на ноги, сказал просто и тихо:

— Признавайся: продали со Степкой быков? Сговорено дело было?

— Братушка!.. Не греши... — Прохор поднимал руки, и кровь, густая, синевато-черная, ползла у него из разбитого рта на рубаху.

— Не скажешь?.. — шепотом просипел Максим.

Прохор заплакал, икая и дергаясь головой... Зубья вил легко, как в копну сена, вошли ему в грудь, под левый сосок. Кровь потекла не сразу...

Степка бился под отцом, выгибаясь дугою, искал губами

отцовы руки и целовал на них вспухшие рубцами жилы и рыжую щетину волос...

— Под сердце... бей...— хрипел Яков Алексеевич, распиная Степку на мокрой, росистой, земле...

* * *

Домой приехали затемно. Яков Алексеевич всю дорогу лежал вниз лицом. На ухабах голова его глухо стукалась в днище повозки. Максим, бросив вожжи, обметал со штанов невидимую пыль. Не доезжая до хутора, скороговоркой крикнул:

— Приехали, мол, а они лежат побитые. Не иначе, мол, порешили их из-за быков... А быков взяли...

Яков Алексеевич промолчал. У ворот их встретила Аксинья, Максимова жена. Почесывая под домотканой юбкой большой обвислый живот (ходила она на сносях), сказала с ленивым сожалением:

— Зря вы кобылу-то гоняли... Быки, вон они, домой пришли, проклятые. Что же Степка-то, аль остался искать?

И, не дождавшись ответа, крестя рот, раззявленный зевотой, пошла в дом тяжелой, ковыляющей походкой.

1926

ЛАЗОРЕВАЯ СТЕПЬ

Над Доном, на облысевшем от солнечного жара бугре, под кустом дикого терна лежим мы: дед Захар и я. Рядом с чешуйчатой грядкой туч бродит коричневый коршун. Листья терна, пестро окрашенные птичьим пометом, не дают нам прохлады. От зноя в ушах горячий звон; когда смотришь вниз на курчавую рябь Дона или под ноги на сморщенные арбузные корки — в рот набегает тягучая слюна, и слюну эту лень сплевывать.

В лощине, возле высыхающей музги, овцы жмутся в тесные кучи. Устало откинув зады, виляют захлюстанными курдюками, надрывно чихают от пыли. У плотины здоровенный ягночище, упираясь задними ногами, сосет грязно-желтую овцу. Изредка поддает головой в материно вымя; овца стонет, горбится, припуская молоко,

и, мне кажется, выражение глаз у нее страдальческое.

Дед Захар сидит ко мне боком. Скинув вязаную шерстяную рубаху, он подслеповато жмурится и ощупью что-то ищет в складках и швах. Деду без года семьдесят. Голая спина замысловато опутана морщинами, лопатки острыми углами выпирают под кожей, но глаза — голубые и юные, взгляд из-под серых бровей — проворен и колюч.

Пойманную вошь он с трудом держит в дрожащих зачерствелых пальцах, держит ее бережно и нежно, потом кладет на землю, подальше от себя, мелким крестиком чертит воздух и глухо бурчит:

— Уползай, тварь! Жить, небось, хочешь? А? То-то оно... Ишь ты, насосалась... помещица...

Кряхтя, напяливает дед рубаху и, запрокидывая голову, тянет из деревянной баклаги степлившуюся воду. Кадык при каждом глотке ползет вверх, от подбородка к горлу свисают две обмякшие складки, по бородке текут капельки, сквозь опущенные шафранные веки красновато просвечивает солнце.

Затыкая баклагу, он искоса глядит на меня и, перехватив мой взгляд, сухо жует губами, смотрит в степь. За лощиной дымкой теплится марево, ветер над обугленной землей пряно пахнет чабрецовым медом. Помолчав, дед отодвигает от себя пастушечью чакушу[1], обкуренным пальцем указывает мимо меня.

— Видишь за энтим логом макушки тополев? Имение панов Томилиных — Тополевка. Там же около и мужичий поселок Тополевка, раньше крепостные были. Отец мой кучеровал у пана до смерти. Мне-то, огольцу, он рассказывал, как пан Евграф Томилин выменял его за ручного журавля у соседа-помещика. После отцовой смерти я заступил на его место кучером. Самому пану в это время было под шестьдесят. Ту́шистый был мужчина, многокровный. В молодости при царе в гвардии служил, а потом кончил службу и уехал доживать на Дон. Землю ихнюю на Дону казаки отобрали, а пану казна отрезала в Саратовской губернии три тыщи десятин. Сдавал он их в аренду саратовским мужикам, сам проживал в Тополевке.

Диковинный был человек. Ходил завсегда в бешмете тонкого сукна, при кинжале. Поедет, бывало, в гости, выберемся из Тополевки, приказывает:

— Гони, хамлюга!

---

[1] Чакуша — пастуший костыль.

Я лошадям кнута. Скачем — ветер не поспевает слезы сушить. Попадется середь дороги ярок, — водой вешней их нарежет через дорогу пропасть,—передних колес не слышно, а задние только — гах!.. Скрадем полверсты, пан ревет: «Поворачивай!» Оберну назад и во весь опор к тому ярку... Раз до трех в проклятущем побываем, покель изломаем лесóрину либо колеса с коляски живьем сымем. Тогда крякнет мой пан, встанет и идет пéшки, а я следом коней в поводу веду. Была у него ишо такая забава: выедем из имения — он сядет со мной на козлы, вырвет кнут из рук. «Шевели коренного!..» Я коренника раскачиваю вовсю, дуга не шелохнется, а он кнутом пристяжную режет. Выезд был тройкой, в пристяжных ходили дончаки чистых кровей, как змеи, голову набок, землю грызут.

И вот он кнутом полосует какую-нибудь одну, сердяга пеной обливается... Потом кинжал вынет, нагнется и постромки — жик, как волос бритвой срежет. Лошадь-то саженя два через голову летит, грохнется обземь, кровь из ноздрей потоком — и готова!.. Таким способом и другую... Коренник до той поры прет, покеда не запалится, а пану хотя бы что, ажник повеселеет малость, кровица так и заиграет на щеках.

Сроду до места прибытия не доезжал: либо коляску обломает, либо лошадей погубит, а после пéшки прет... Веселый был пан... Дело прошлое, пущай нас бог судит... Присватался он к моей бабе, она в горничных состояла. Прибежит, бывало, в людскую — рубаха в шмотьях — ревет белугой. Гляну, а у ней все груди искусаны, кожа лентами висит... Раз как-то посылает меня пан в ночь за фершалом. Знаю, что надобности нету, смекнул, в чем дело, взял в степи ночи дождался и вернулся. В имение через гумно въехал, бросил лошадей в саду, взял кнут и иду в людскую, в свою каморку. Дверью рыпнул, серников нарочно не зажигаю, а слышу, на кровати возня... Тольки это приподнялся мой пан, я его кнутом, а кнут у меня был с свинчаткой на конце... Слышу, гребется к окну, я в потемках ишо раз его потянул через лоб. Высигнул он в окно, я маленько похлестал бабу и лег спать. Дён через пять поехали в станицу, стал я пристегивать полсть на коляске, а пан кнут взял и разглядывает конец. Вертел, вертел в руках, свинчатку нащупал и спрашивает:

— Ты, собачья кровь, на что свинец зашил в кнут?

— Вы сами изволили приказать, — отвечаю ему.

Промолчал и всю дорогу до первого ярка сквозь зубы

посвистывает, а я обернусь этак мельком — вижу: волосы на лоб спущенные и фуражка глубоко надвинута...

Года через два паралик его задушил. Привезли в Усть-Медведицу, докторов поназвали, а он лежит на полу, почернел весь. Достает катериновки из кармана пачками, кидает на пол, хрипит в одну душу: «Лечите, гады! Всё отдам!..»

Царство небесное, помер с деньгами. Наследником сын-офицер остался. Махоньким был, так щенят, бывалоча, живьем свежует — обдерет и пустит. В папашу выродился. А подрос — перестал дурить. Высокий был, тонкий, под глазами сроду черные круги, как у бабы... Носил на носу очки золотые, на снурке очки-то. В германскую войну был начальником над пленными в Сибири, а после переворота объявился в наших краях. К тому времени у меня от покойного сына уж внуки были в годах; старшего, Семена, женил, а Аникушка ходил ишо в парубках. При них я проживал, концы жизни в узелочек завязывал... Весной обратно получился переворот. Выгнали наши мужики молодого пана из имения, в тот же день в обчестве Семка мужиков уговаривал панские угодья разделить и имущество забрать по домам. Так и сделали: добро растянули, а землю порезали на делянки и зачали пахать. Через неделю, а может, и меньше, дошел слух, что идет пан с казаками наш поселок вырезать. Сходом послали мы две подводы на станцию за оружием. На страстной неделе привезли от Красной гвардии оружье, порыли за Тополевкой окопы. Протянули их ажник до панского пруда.

Видишь, вон там, где чабрец растет круговинами, за энтой балкой и легли тополевцы в окопы. Были там и мои — Семка с Аникеем. Бабы с утра харчи им отнесли, а солнце в дуб—на бугре появилась конница. Рассыпались лавой, засинели шашки. С гумна видал я, как передний на белом коне махнул палашом, и конные горохом посыпались с бугра. По проходке угадал я белого панского рысака, а по коню узнал и седока... Два раза наши сбивали их, а на третий обошли казаки сзаду, хитростью взяли, и пошла тут сеча... Заря истухла, кончился бой. Вышел я из хаты на улицу, вижу: гонят конные к имению кучу народу. Я — костыль в руки и туда.

Во дворе наши тополевские мужики сбились в кучу, не хуже как вот эти овцы. Кругом казаки... Подошел, спрашиваю:

— А скажите, братцы, где мои внуки?

Слышу, из середки откликаются обое. Потолковали мы промеж себя трошки; вижу, выходит на крыльцо пан. Увидал меня и шумит:

— Это ты, дед Захар?

— Так точно, ваше благуродие!

— Зачем пришел?

Подхожу к крыльцу, стал на колени.

— Внуков пришел из беды выручать. Поимей милость, пан! Папаше вашему, дай бог царство небесное, век служил, вспомни, пан, мое усердие, пожалей старость!..

Он и говорит:

— Вот что, дед Захар, я оченно уважаю твои заслуги перед моим папашей, но внуков твоих вызволить не могу. Они коренные смутьяны. Смирись, дед, духом.

Я ножки его обнял, ползу по крыльцу.

— Смилуйся, пан! Родимушка мой, вспомни, как дед Захар тебе услужал, не губи, у Семки мово ить дите грудное!

Закурил он пахучую папироску, дым кверху пущает и говорит:

— Поди скажи им, мерзавцам, пущай придут ко мне в комнаты; ежели выпросят прощение — так и быть, ради папашиной памяти, вкачу им розог и запишу в свой отряд. Может, они усердием и покроют свою страмную вину.

Я рысью во двор, рассказал внукам, тяну их за рукава:

— Идите, дурные, с земли не вставайте, покеда не простит!

Семен хоть бы голову поднял. Сидит на припечках и былкой землю ковыряет. Аникушка глядел-глядел на меня да как брякнет:

— Поди, — говорит, — к своему пану и скажи ему: мол, дед Захар на коленях всю жизнь полозил, и сын его полозил, а внуки уже не хочут. Так и передай!

— Не пойдешь, сучий сын?

— Не пойду!

— Тебе, поганцу, жить-помирать — один алтын, а Семку куда тянешь? На кого бабу с дитем кинет?

Вижу, у Семена затряслись руки, копает землю былкой, ищет там неположенного, сам молчит. Молчит, как бык.

— Иди, дедушка, не квели нас, — просит Аникей.

— Не пойду, гад твоей морде! Анисья Семкина руки на себя наложит в случае чего!..

У Семки былка-то в руках хрусть — и сломалась.

Жду. Обратно молчат.

— Семушка, опомнись, кормилец мой! Иди к пану.

— Опомнились! Не пойдем! Иди полозь ты! — лютует Аникушка.

Я и говорю:

— Попрекаешь тем, что перед паном на коленках стоял? Что ж, я человек старый, вместо материной титьки панский кнут сосал... Не погребую и перед родными внуками на колени стать.

Стал на колени, земно кланяюсь, прошу. Мужики отвернулись, быдто и не видят.

— Уйди, дед... Уйди, убью! — орет Аникушка, а у самого пена на губах и глаза дикие, как у заарканенного волка.

Повернулся я и опять к пану. Ножки его прижал к грудям — не отпихнет, руки закаменели, и уж слова не выговорю. Спрашивает:

— Где же внуки?

— Боятся, пан...

— А, боятся... — И больше ничего не сказал. Сапожком своим ударил меня прямо в рот и пошел на крыльцо.

Дед Захар задышал порывисто и часто; на минутку лицо его сморщилось и побелело; страшным усилием задушив короткое, старческое рыданье, он вытер ладонью сухие губы, отвернулся. В стороне за музгой коршун, косо распластав крылья, ударился в траву и приподнял над землей белогрудого стрепета. Перья упали снежными лохмотьями, блеск их на траве был нестерпимо резок и колюч. Дед Захар высморкался и, вытерев пальцы о подол вязаной рубахи, снова заговорил:

— Вышел я следом на крыльцо, глядь — Аниська Семенова с дитем бежит. Не хуже, как этот коршун, вдарилась она об мужа и пристыла у него на руках...

Подозвал пан вахмистра, указывает на Семена с Аникушкой. Вахмистр, с ним шесть казаков, взяли их и повели в панскую леваду. Я следом иду, а Аниська дитя кинула посередь двора и за паном волокется. Семен попереди всех шибко-шибко идет, дошел до конюшни и сел.

— Ты чего это? — спрашивает пан.

— Сапог ногу жмет, мóчи нет. — И улыбается.

Снял сапоги, подает мне:

— Носи, дедушка, на доброе здоровье. На них подошвы двойные, добрые.

Забрал я эти сапоги, опять идем. Поравнялись с огорожей, поставили их к плетню, казаки ружья заряжают,

пан стоит около, ноготки на пальцах махонькими ножничками обрезает, а ручка ихняя очень белая. Говорю я ему:

— Дозвольте, пан, посымать им одежу. Одежа на них добрая, нам по бедности сгодится, сносим.

— Пущай сымают.

Снял Аникушка шаровары, вывернул наизнанку и повесил на колышек плетня. Из кармана вынул кисет, закурил, стоит, ногу отставил и дым колечками пущает, а плюет через плетень... Семен растелешился догола, исподники холщовые — и то снял, а шапку-то позабыл снять, — знать, замстило... Меня то морозом дерет, то в жар кинет. Лапну себя за голову, а пот зачем-то холодный, как родниковая вода... Гляну — стоят рядушком... У Семена грудь вся дремучим волосом поросла, голый, а на голове шапка... Анисья, по бабьему положению, глянула, что стоит муж такой на́гий и в шапке, как кинется к нему, обвилась, ровно хмель вокруг дуба. Семен от себя ее отпихивает.

— Уйди, шалава!.. Опомнись, на людях-то!.. Повылазило тебе, не видишь, что я очень голый... совестно...

Она же раскосматилась, ревет в одну душу:

— Стреляйте обех нас!..

Пан ножнички свои положил в кармашек, спрашивает:

— Стрелять?

— Стреляй, проклятый!..

Это на пана-то!

— Привяжите ее к мужу! — приказывает.

Анисья опамятовалась да назад, ан не тут-то было. Казаки смеются, вяжут ее к Семену недоуздком... Упала, глупая, наземь и мужа свалила... Пан подошел, сквозь зубы спрашивает:

— Может, ради дитя, какое осталось, попросишь прощенья?

— Попрошу, — стонает Семен.

— Ну, попроси, только у бога... опоздал у меня просить!..

На земле лежачих их и побили... Аникушка после выстрелов закачался на ногах, но упал не сразу. Спервоначалу на колени, а потом резко обернулся и лег вверх лицом. Пан подошел, спрашивает очень ласково:

— Хочешь жить? Коли хочешь — проси прощенья. Так и быть, полсотни розог — и на фронт.

Набрал Аникушка слюней полон рот, а доплюнуть силов не хватило, по бороде потекли... Побелел весь от злости, только куда уж... три пули его продырявили...

— Перетяните его на дорогу! — приказывает пан.

Поволокли его казаки и кинули через плетень, поперек дороги. Тем часом в станицу из Тополевки ехала сотня казаков, при них две пушки. Пан на плетень, как кочет, вскочил, звонко кричит:

— Ездовые, ры-сью, не объезжать!..

На мне волосы встали дыбом. Держу в руках Семенову одежу и сапоги, а ноги не держат, гнутся... Лошади, они имеют божью искру, ни одна на Аникушку не ступнула, сигают через... Припал я к плетню, глаза не могу закрыть, во рту спеклось... Колеса пушки попали на ноги Аникею... Захрустели они, как ржаной сухарь на зубах, измялись в тоненькие трощинки... Думал, помрет Аникей от смертной боли, а он хоть бы крикнул, хоть бы стон уронил... Лежит, голову плотно прижал, землю с дороги пригоршнями в рот пихает... Землю жует и смотрит на пана, глазом не сморгнет, а глаза ясные, светлые, как небушко...

Тридцать два человека в тот день расстрелял пан Томилин. Один Аникей живой остался через гордость свою...

Дед Захар пил из баклаги долго и жадно. Утирая выцветшие губы, нехотя докончил:

— Быльем поросло это. Остались одни окопы, в каких наши мужики землю себе завоевывали. Растет в них мурава да краснобыл степной... Аникею ноги отняли, ходит он теперя на руках, туловищу по земле тягает. С виду — веселый, с Семеновым парнишкой кажин день возле притолоки меряются. Парнишка-то перерастает его... Зимой, бывало, вылезет на проулок, люди скотину к речке гонят поить, а он подымет руки и сидит на дороге... Быки со страху на лед побегут, на сколизи чуть не раздираются, а он смеется... Один раз лишь заприметил я... Весной трактор нашей коммуны землю пахал за казачьей гранью, а он увязался, поехал туда. Я овец пас неподалеку. Гляжу, полозит мой Аникей по пахоте. Думаю, что он будет делать? И вижу: оглянулся Аникей кругом, видит, людей вблизи нету, так он припал к земле лицом, глыбу, лемешами отвернутую, обнял, к себе жмет, руками гладит, целует... Двадцать пятый год ему, а землю сроду не придется пахать... Вот он и тоскует...

В дымчато-синих сумерках дремала лазоревая степь, на круговинах отцветающего чабреца последнюю за день взятку брали пчелы. Ковыль, белобрысый и напыщенный, надменно качал султанистыми метелками. Овечья отара двигалась под гору к Тополевке. Дед Захар, опираясь на

чакушу, шел молча. По дороге, на заботливо расшитом полотнище пыли, виднелись следы: один волчий, шаг в шаг, редкий и разлапистый, другой — косыми полосами кромсавший дорогу — след тополевского трактора.

Там, где летник вливается в заросший подорожником позабытый Гетманский шлях, следы расстались. Волчий свернул в сторону, в яры, залохматевшие зеленой непролазью бурьяна и терновника, а на дороге остался один след, пахнувший керосиновой гарью, размеренный и грузный.

1926

СОДЕРЖАНИЕ

Михаил Александрович
Шолохов

ИЗ РАННИХ РАССКАЗОВ

Редактор О. Владимирская
Художник А. Ветров
Художественный редактор Г. Саленков
Технический редактор Л. Демьянова
Корректоры Т. Люборец, И. Рудакова

ИБ № 4750

Сдано в набор 27.11.86 г. Подписано к печати 21.01.87 г. Формат 84x108/32. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 2 кн.-журн. Усл. печ. л. 10,08. Усл. кр.-отт. 10,08 в пер. № 7; 10,29 в обл. Уч.-изд. л. 10,65. Тираж 1 000 000 (1—500 000) экз. Заказ 311. Цена в пер. № 7 1 р. 30 к. (500 000 экз.); в обл. 85 коп. (500 000 экз).

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 445043, Тольятти, Южное шоссе, 30

Шолохов М. А.

Ш78 Из ранних рассказов.— М.: Современник, 1987.— 188 с.

В сборник М. А. Шолохова, лауреата Ленинской, Государственной и Нобелевской премий, дважды Героя Социалистического Труда, вошли рассказы «Родинка», «Бахчевник», «Шибалково семя», «Жеребенок» и другие.

Ш $\frac{4702010200-124}{М106(03)-87}$ **159—87**

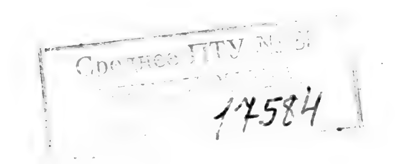
ББК84Р7
Р2

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Просим Вас отзывы о книге, ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении направлять по адресу:

123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 62.

Издательство «Современник».



1 р. 30 к.

«СОВРЕМЕННИК»

